

Гершом Шолем

ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН —
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДРУЖБЫ



Dr. G. SCHOLEM

Grüß mein Onkelchen zum 15. Juli.

Ich fange mit der Zeit

Гершом Шолем Вальтер Беньямин – история одной дружбы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67295277

Вальтер Беньямин – история одной дружбы:

ISBN 978-5-904099-08-4

Аннотация

Перед нами не просто интеллектуальная биография Вальтера Беньямина (таковых за последнее время на разных языках написано великое множество) и не только рассказ о том, как Гершом Шолем хотел сделать Беньямина Шолемом, а Беньямин остался самим собой. Это вполне педантичный рассказ друга, оказавшегося великим учёным, о друге, который стал великим философом. Собранный по частям и упорядоченный хронологически дневник, который вместе с автором вело само время.

Из предисловия Ивана Болдырева к русскому изданию

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Содержание

К читателю	4
ПРЕДИСЛОВИЕ	10
ПЕРВЫЕ КОНТАКТЫ (1915)	14
КРЕПНУЩАЯ ДРУЖБА (1916–1917)	44
В ШВЕЙЦАРИИ (1918–1919)	97
Конец ознакомительного фрагмента.	124

Шолем Гершом Вальтер Беньямин – история одной дружбы

К читателю

Когда на русском языке выходят любимые книги, кажется, что в гости приехал тот, кого ты давно ждал, но никогда не видел в собственном интерьере. И вот он сидит, пьёт чай и словно приносит с собой в подарок весь свой мир, с которым ты всегда его соотносил. И это, конечно, большое счастье.

Перед нами не просто интеллектуальная биография Вальтера Беньямина (таковых за последнее время на разных языках написано великое множество) и не только рассказ о том, как Гершом Шолем хотел сделать Беньямина Шолемом, а Беньямин остался самим собой. Это вполне педантичный рассказ друга, оказавшегося великим учёным, о друге, который стал великим философом. Собранный по частям и упорядоченный хронологически дневник, который вместе с автором вело само время.

Стоит, наверное, сразу сказать, что Шолем не был иудейским Эккерманом – перед нами не «просто» дотошный ле-

тописец или экзальтированный душеприказчик. Бенъямин общался с человеком, разработавшим собственную метафизику языка, размышлявшим над своей версией политической теологии, наконец, открывшим гуманитарной мысли прошлого века совершенно новую для неё область – еврейскую мистику. Бенъямин стал соучастником интеллектуального становления Шолема и, конечно, не написал бы того, что написал, не будь этой дружбы – впрочем, вполне объяснимой неизменным интересом Бенъямина к еврейской культуре, и традиционной, и актуальной.

Свидетельства Шолема – важная часть той работы по восстановлению справедливости, которой он занялся после войны. Между гибелью Бенъямина и выходом в свет его первого собрания сочинений прошло пятнадцать лет, и ещё двадцать понадобилось, чтобы осознать значимость его наследия для философии и литературы. Шолем вместе с Адорно выпускает двухтомник писем Бенъямина, пишет статьи о нём (одна из самых известных, «Вальтер Бенъямин и его ангел», есть и по-русски), наконец, участвует в работе над первым и на сегодняшний день единственным полным изданием его текстов. Но у него было много причин сделать больше, и срок на это был ему отпущен.

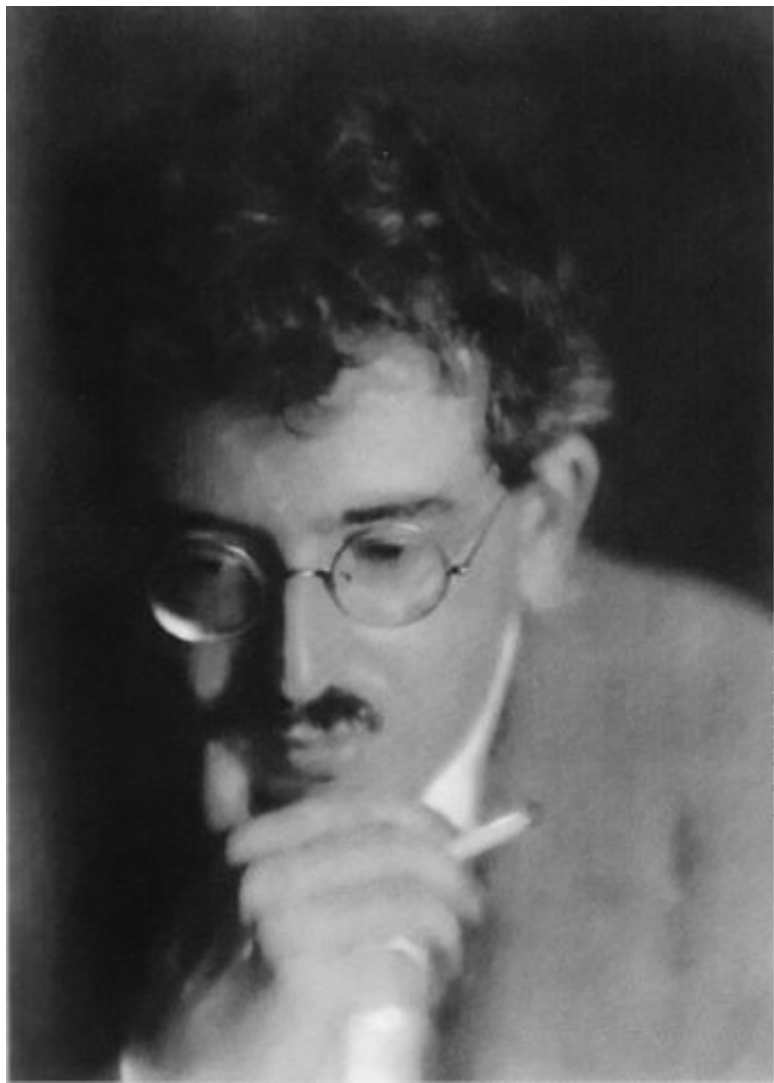
В известном смысле, книга не стала сенсацией: жизнь и личность Бенъямина, даже став предметом посмертной рационализации, остались столь же неприступными и энигматическими, как и его тексты; Шолем просто ещё раз сообща-

ет нам об этом. Но ему, как мне кажется, удалось вспомнить главное: ситуацию интенсивности мысли, не воспроизводимую в обычном отчёте о неудавшихся диссертациях, публикациях, манускриптах, написанных в стол, или окололитературных распрах. Философия тут становится историческим событием, и не остаётся ничего важнее. Бенямин умел увидеть интригу в жизни почтовых марок, а Шолем умеет (а может быть, и не умеет, а само так получается?) сделать драматичным и насытить событиями общение умов. Бывший в плане историческом, в общем, одиноким мыслителем, Бенямин в жизни был окружён замечательными людьми – кроме Шолема это были Адорно, Брехт, Блох. Их непонимание было подчас важнее солидарности, а разговоры с ними – началом или продолжением написанного. Книга даёт нам редкую возможность стать свидетелями этой реальной, но, как ни странно, трудно представимой непрерывности между текстом и его обстоятельствами.

Вот почему так интересны эти сводки с интеллектуального фронта, документы, по которым получается, что некто прочитал, написал, поспорил, согласился. Конечно, главный их адресат – читатели Бенямина, нынешние и будущие. Во «время теперь», когда его тексты стали фактом русского языка, такие документы, вместе с фигурами мысли сообщающие и о фигуре автора, попадают как нельзя кстати. Трудно, правда, сказать, с чего лучше начинать – при всей ясности стиля Шолем всё же пишет для интересующихся. Однако и в це-

лом — кто следит за движением эпох, тот оценит в этой книге наблюдения прелюбопытнейшие и, в частности, зарисовки из жизни еврейской интеллигенции Веймарской Германии, людей, которые были подчас бóльшими немцами, чем сами немцы, и без которых немецкая мысль прошлого века не состоялась бы никогда. Бенъямин и Шолем были частью этого погибшего, расплзшегося культурного слоя, и именно в таком качестве — незаменимыми агентами времени.

Иван Болдырев



Вальтер Беньямин. Париж, 1927 г. Фото Жермены Круль.
Частное собрание, Берлин

ПРЕДИСЛОВИЕ

Не так много осталось людей, кто сохранил точные и глубокие воспоминания о Вальтере Беньямине. Он поддерживал поверхностные отношения с обширным кругом знакомых, но лишь немногим было позволено взглянуть в его личность. Очень жаль, что близкие к нему люди почти не оставили о нём воспоминаний. Спустя полгода после его кончины я пытался уговорить бывшую жену Беньямина Дору, которая, пожалуй, гораздо лучше других знала подробности его жизни на протяжении пятнадцати лет, записать то, что она видела и знала о его жизни и его подлинном «Я», – к сожалению, безуспешно. Зато Ася Лацис¹, поддерживавшая с ним тесную дружбу в двадцатые годы и, прежде всего, между 1924-м и 1930-м годами, в книге «Профессиональный революционер» (1971) опубликовала кое-какие воспоминания о нём². Насколько я смог перепроверить, надёжностью они как раз не отличаются – ни по содержанию, ни по хронологии. В сознании этой женщины, много лет проводшей при Сталине в лагерях – и потому утратившей все документальные свидетельства – произошли серьёзные сдвиги.

Что я могу здесь предложить, так это историю нашей дружбы и моё свидетельство о Вальтере Беньямине, каким я его знал. В силу естественной природы вещей, мне придётся-

ся время от времени поневоле говорить и о себе, особенно вначале и в некоторых заметках и письмах – насколько это необходимо для понимания нашей дружбы.

Кто пишет воспоминания, да ещё спустя 35 лет после смерти друга, должен учитывать предостережение, которое дано было нашему поколению на примере бесед Густава Яноуха с Кафкой – бесед крайне сомнительной подлинности, но проглоченных алчным миром без всякой критики, бесед, которые автор опубликовал (или сфабриковал?) лишь после Второй мировой войны, когда Кафка стал знаменитостью, а объяснение такого запоздания проверке не поддавалось. Пишущему воспоминания также следует быть готовым к вопросу особенно в столь спорном случае, как с Вальтером Бенямином, – по какому праву он сообщает, переписывает и толкует факты, которые не всегда подкреплены доказательным материалом? Конечно, многое из приведённого в этой книге основано на дневниковых или другого рода записях и на множестве писем, которые либо использовались в тексте, либо послужили для проверки фактов. Однако во многих случаях мемуарист в силу природы вещей не может претендовать ни на какой другой кредит доверия, кроме своей личной незапятнанности и надёжности, уже, на его взгляд, доказанных. Кто отрицает за ним эти качества, того эти воспоминания не убедят, даже если они основаны на многолетнем тесном общении – или как раз вследствие

этого, поскольку это якобы влечёт за собой «предвзятость», от каковой совершенно свободны юноши, берущиеся за интерпретацию событий радостно и не задумываясь.

В опубликованных в 1966 году «Письмах» Беньямина³ есть те, которые адресованы мне, в них отражены существенные моменты наших отношений. В этой книге значительная часть из них дана в полном виде и также публикуется многое, что там не выражено или высказано лишь намёками. Также я полностью или частично привожу относящиеся к делу, но не опубликованные письма Беньямина и к Беньямину. Так что – за немногими неизбежными исключениями – приведённые здесь цитаты из писем относятся к неопубликованному архиву⁴. Из почти 300 писем Беньямина ко мне лишь 130 напечатаны в сборнике 1966 года – полностью или в отрывках. Во вновь предлагаемых здесь письмах я сохранил орфографию и пунктуацию оригинала, особенно в том, что касается в высшей степени своеобразного, беньяминовского способа постановки запятой⁵.

Итак, данная книга призвана в значительной степени прояснить биографию Беньямина, написать которую при сегодняшнем положении вещей невозможно.

За восемь лет нашего личного общения у нас, конечно, состоялось очень много разговоров, содержание которых стёрлось из моей памяти, но многое глубоко запечатлелось по

причине важности предмета или особых сопутствующих обстоятельств, суждений и формулировок. Таков образ Бенямина, который здесь дан: несомненно, очень личный, определяемый в том числе опытом и решениями моей собственной жизни, но всё-таки, как я надеюсь, подлинный.

Иерусалим,

февраль 1975 г.

ПЕРВЫЕ КОНТАКТЫ (1915)

Ещё до личного знакомства с Бенъямином я увидел его осенью 1913 года, когда в зале над кафе «Тиргартен» в Берлине состоялась встреча между сионистской молодёжной группой, к которой принадлежал и я – она называлась «Младоиудея» <*Jung-Juda*>⁶ и вела пропаганду среди учащихся старших классов гимназий и родственных им заведений в Берлине, – и действовавшей в тех же кругах «Молодёжного движения» <*gung*> и находившейся под влиянием «Молодёжного дискуссионного клуба» <*Sprechsaal der Jugend*> Густава Винекена⁷. Дело в том, что эти «дискуссионные клубы» – о чём всегда старательно умалчивалось в литературе, опубликованной впоследствии, насколько она мне известна, – тоже состояли главным образом из евреев, правда, из таких, которые меньше всего использовали этот факт. Собралось около восьмидесяти человек, желавших высказаться о своём отношении к еврейскому и немецкому наследию. С обеих сторон выступали по два-три оратора. Основным оратором от людей Винекена был Вальтер Бенъямин, о котором говорили, что он – самый талантливый из них. Он произнёс очень витиеватую речь, содержание и подробности которой я забыл, – не отвергавшую сионизм изначально, но как-то отодвигавшую его в сторону. Однако способ его вы-

ступления остался для меня незабываемым. Не глядя на присутствующих, он говорил с большой интенсивностью и всегда в готовых для печати выражениях, уставившись при этом в верхний угол зала. Впрочем, я уже забыл и то, как ему выражали сионисты.

В «Дискуссионном клубе» объединились школьники и студенты, которые были не только разочарованы «полной средней школой», но и в принципе стремились к более глубоким духовным преобразованиям. Один из моих одноклассников, Георг Штраус, который и сам впоследствии пришёл к сионизму, тщетно пытался подвигнуть меня к вступлению в эту группу весной 1914 года.

Если учитывать злую антипатию Бенямина к своей школе, выраженную в «Берлинской хронике»⁸, то удивительно будет узнать – а это мне рассказывали его школьные товарищи, – что школа имени кайзера Фридриха в Берлине была ярко выраженной реформаторской школой. Она представляла собой смесь гимназии и реальной школы, где французский преподавался с первого класса, латынь – с четвёртого-пятого классов, а греческий – только с шестого-седьмого классов и притом не на основе грамматик, но прямо по тексту «Илиады». Директор школы, профессор Церникель, был школьным реформатором. К школьным товарищам Бенямина – среди прочих – относились Эрнст Шён, Альфред Кон, Герберт Блюменталь (впоследствии Бельмор), Франц Закс, Фриц Штраус, Альфред Штейнфельд и Вилли

Вольфрадт, впоследствии ставший беллетристом; они образовали кружок, который регулярно собирался, читая и обсуждая литературные произведения. Фриц Штраус рассказывал мне, что эта группа считала Бенямина своим руководителем. Его интеллектуальное превосходство, дескать, было очевидно всем.

«Дискуссионный клуб» не только отстаивал идеи радикальной школьной реформы, он выступал за автономную культуру молодёжи, чьим манифестом стала вышедшая тогда «Молодёжная культура» Густава Винекена. Эти идеи с большим пафосом провозглашались в издававшемся Георгом Барбизоном (псевдоним Георга Гретора) и Зигфридом Бернфельдом журнале «Начало»⁹. Но было общеизвестно, что важнейшие статьи пишутся студентами – такими, как Бенямин, выступавший под псевдонимом Ардор. Сионисты, обладавшие живым историческим сознанием, были далеки от радикального антиисторизма, свойственного журналу. Социально-политическая составляющая, доминирующая в нынешних организациях революционной молодёжи, была чужда группам, объединившимся вокруг журнала «Начало». Сама по себе «молодость» членов этих групп гарантировала, как казалось, творческое обновление.

Тогда я не знал, что Бенямин в 1912–1913 годах провёл несколько интенсивных устных и письменных дискуссий о сионизме, из которых дискуссии, проведённые с Куртом

Тухлером, утрачены, однако дискуссии с Людвигом Штраусом (1913) сохранились¹⁰. Штраус был школьным товарищем Фрица Хейнле, а последний в течение пятнадцати месяцев, начиная с апреля 1913 года, когда он приехал из Гёттингена во Фрайбург, и до начала войны в 1914 году играл в жизни Бенямина центральную роль. Оба – и Штраус, и Хейнле – были родом из Аахена, оба сочиняли стихи и поддерживали в годы своего обучения во Фрайбурге и Берлине то более тесный, то более слабый контакт со «Свободным студенчеством»¹¹.

Когда я познакомился с Бенямином, всё это было уже в прошлом. Началась Первая мировая война, и она не оставила и следов от «Молодёжного движения». У меня шёл первый семестр в университете, где я изучал математику и философию, а вне университета – но с не меньшей интенсивностью – древнееврейский и источники иудейской письменности. В конце июня 1915 года я слушал доклад Курта Хиллера, чью книгу «Мудрость скуки»¹² я прочёл ранее. Следуя по стопам Ницше, он неистово разоблачал историю как силу, враждебную духу и жизни – что казалось мне ошибочным и недалёковидным. «История? Взор! Мы живём вне истории; какое отношение к нам имеет весь этот хлам тысячелетий? Мы живём в поколении¹³, родившемся вместе с нами!». В таких словах я обобщил суть его доклада у себя в дневнике.

В конце доклада было объявлено, что через неделю в штаб-квартире «Свободного студенчества», где-то в Шарлоттенбурге, состоится обсуждение его доклада. Я отправился туда и записался на выступление среди многочисленных других ораторов; в довольно беспомощной речи я протестовал против исторической концепции Хиллера, что, однако, вызвало неблагосклонность председательствующего, д-ра Рудольфа Кайзера, друга Хиллера, и председательствующий, недолго думая, лишил меня слова при одной из моих заминок. Выступал там и Беньямин, который вновь бросился мне в глаза из-за вышеописанной позы; он сохранял её во время речи. Эта поза, пожалуй, была следствием его близорукости, которая мешала ему воспринимать движущихся людей.

Несколько дней спустя в каталожной комнате университетской библиотеки я столкнулся с Беньямином, который напряжённо на меня уставился, словно пытаюсь припомнить, кто я такой. Затем он вышел, но вскоре вернулся, отвесил формальный поклон и спросил, не тот ли я господин, который выступал на вечере Хиллера. Я подтвердил. Он сказал, что хотел бы поговорить на затронутые мной темы, и попросил у меня адрес. 19 июля я получил приглашение: «Глубокоуважаемый господин – я хотел бы пригласить Вас к себе в четверг на этой неделе к 5.30». Позднее он позвонил мне и перенёс приглашение на день раньше.

Итак, впервые я посетил его 21 июля 1915 года. Дом в Груневальде, принадлежавший его родителям, располагал-

ся на углу Дельбрюкштрассе, 23, и Яговштрассе (ныне Рихард-Штраус-штрассе). Там у него была большая, очень приличная комната со множеством книг, которая произвела на меня впечатление кельи философа. Беньямин сразу же перешёл *in medias res*¹⁴. Он сказал, что много занимается сущностью исторического процесса и размышляет о философии истории. Поэтому ему интересно моё мнение, и он просит меня обсудить с ним то, что я имел в виду в своих формулировках против Хиллера. Мы быстро перешли на темы, которые в то время интересовали меня больше всего, мы говорили о социализме и сионизме. К тому времени я уже четыре года принадлежал к сионистскому лагерю, куда меня привело осознание самообмана, в котором жил круг моей семьи и её среда; способствовало этому и прочтение нескольких книг по еврейской истории, особенно «Истории евреев» Генриха Греца¹⁵. Когда разразилась война, мной заведомо и безоговорочно отвергаемая – настолько, что «девятый вал» чувств, который взволновал тогда чрезвычайно обширные круги, не коснулся меня вообще – я неожиданно очутился в том же политическом лагере, что и мой брат Вернер¹⁶, немного старше меня, который тогда уже вступил в социал-демократическую партию, но находился в лагере меньшинства этой партии, решительно настроенного против войны. Тогда я много читал о социализме, историческом материализме и, прежде всего, об анархизме, вызвавшем самые горячие мои симпа-

тии. Биография Бакунина, написанная Неттлау¹⁷, а также сочинения Бакунина и Элизе Реклю произвели на меня глубокое впечатление, и сюда в 1915 году добавилось прочтение трудов Густава Ландауэра, прежде всего его «Призыв к социализму». Я пытался объединить в себе оба этих пути – социализм и сионизм – и произнёс об этом перед Бенъямином речь, а он добавил, что оба эти пути возможны. Разумеется, подобно всякому сионисту, я испытал тогда и влияние Мартина Бубера, чьи «Три речи об иудаизме» (1911)¹⁸ играли значительную роль в мире мыслей сионистской молодёжи – мне трудно воспринимать эти чувства как свои собственные сегодня, 60 лет спустя. Бенъямин уже тогда, в нашей первой беседе, высказал строгие предостережения против Бубера, которые встретили у меня мощный отпор, хотя позитивное отношение Бубера и его основных учеников к войне (к так называемому «переживанию» войны) пробудило моё особое возмущение. Таким образом, мы с Бенъямином очень скоро и с неизбежностью перешли к обсуждению нашего отношения к войне, причём я объявил ему, что разделяю точку зрения Карла Либкнехта, который в конце 1914 года голосовал в рейхстаге против выделения кредитов на войну. Когда Бенъямин сказал мне, что он тоже полностью разделяет эту точку зрения, я рассказал ему свою личную историю. А именно, в феврале 1915 года с группой единомышленников из «Младоиудеи» я составил письмо протеста против воодушевлённых войной статей в редакцию газеты «Ев-

рейское обозрение»¹⁹, органа сионистов в Германии; в письме уточнялось наше отношение к войне, хотя, конечно, при господстве военной цензуры не было шансов донести это отношение до публичного восприятия. Но письмо, ходившее в списках, стало известно нескольким моим соученикам, которые донесли на меня, и после этого, за год до выпускных экзаменов, мне пришлось оставить луизенштадтскую²⁰ реальную гимназию. Но я стал тогда учиться на основе так называемого «малого матрикула»²¹, который позволял молодым людям с аттестатом об окончании неполной средней школы полноправное зачисление в университет на четыре семестра. Это был статут, принятый в пользу младших сыновей из семей прусского дворянства и землевладельцев, он оставался неизвестным в широких кругах, и я узнал о нём лишь случайно после исключения из гимназии. Таким образом, он помог мне продолжить образование. С начала 1915 года мы с братом также посещали сходки, которые социал-демократы, настроенные против войны, устраивали без разрешения полиции в одном из ресторанов Нойкёльна²²; на этих собраниях важнейшие руководители оппозиции, насколько я помню, раз в две недели делали доклады о положении в стране. Беньямин был чрезвычайно увлечён этими докладами, они его очень интересовали. Он тоже захотел немедленно сделать что-нибудь для оппозиции. Я пригласил его на следующий день прийти ко мне, чтобы дать ему почитать материа-

лы, опубликованные этой группой. Сюда относился, прежде всего, первый и единственный номер газеты «Интернационал», изданный Розой Люксембург и Августом Тальгеймером, в нелегальном распространении которого участвовали мы с братом. Наша первая беседа с Бенъямином продолжалась больше трёх часов.

Первая черта Бенъямина, которая бросилась мне в глаза, оставшаяся характерной для него на протяжении всей жизни, заключалась в том, что во время разговора он не мог усидеть на месте, а тотчас начинал ходить по комнате, формулируя фразы, а затем перед кем-нибудь останавливался и со своеобразной интенсивностью излагал свою позицию или, как бы экспериментируя, формулировал другие возможные позиции. А наедине с собеседником Бенъямин любил смотреть ему в глаза. Но когда он, как уже было описано, особенно выступая в широком кругу, устремлял взгляд в самый дальний угол потолка комнаты, это придавало ему прямо-таки магический вид. Эта неподвижность взгляда создавала сильный контраст с его оживлённой жестикуляцией.

О его внешнем виде я уже говорил. Назвать его красивым было нельзя, но он поражал своим высоким чистым лбом, обрамлённым высокой шапкой волнистых, непослушных тёмных волос, которые он сохранил до конца жизни, – со временем поседевших. У него был красивый – мелодичный

и проникновенный – голос. Он превосходно читал и производил особенное впечатление при спокойных интонациях. Беньямин был среднего роста, тогда и ещё много лет спустя отличался стройностью, одевался подчёркнуто неброско и держался, слегка наклонившись вперёд. Не помню, чтобы он ходил выпрямившись, с высоко поднятой головой. В его походке чувствовалось что-то характерное, размеренное и ощупывающее – что можно было объяснить его близорукостью. Он не любил ходить быстро, и мне – а я был гораздо выше ростом, длинноногий и делал стремительные большие шаги – было нелегко в наших прогулках приспособиться к его походке. Он часто останавливался, продолжая говорить. Сзади его легко можно было узнать по походке, её своеобразие с годами лишь усилилось. Он носил сильные очки, которые часто снимал в ходе разговора, обезоруживая впечатляющие тёмно-синие глаза. Нос у него был правильный, нижняя часть лица тогда была ещё мягкой, а губы – полными и чувственными. Нижняя половина лица контрастировала своей неполной сформированностью с верхней половиной, сильно и выразительно развитой. Когда он говорил, лицо принимало странно замкнутое, скорее обращённое внутрь выражение. Он всегда носил густые усы, при этом гладко выбривая щёки и подбородок. Кожа его тела отличалась белизной, цвет же лица был слегка красноватым. Кисти рук – красивые, узкие и выразительные. В целом его физиономия носила несомненно еврейские черты, но с каким-то

спокойным, умеренным оттенком. Лучшие его фотоснимки были сделаны Жерменой Круль (1926), а снятые лет десять спустя – Жизелью Фройнд²³, обе из Парижа.

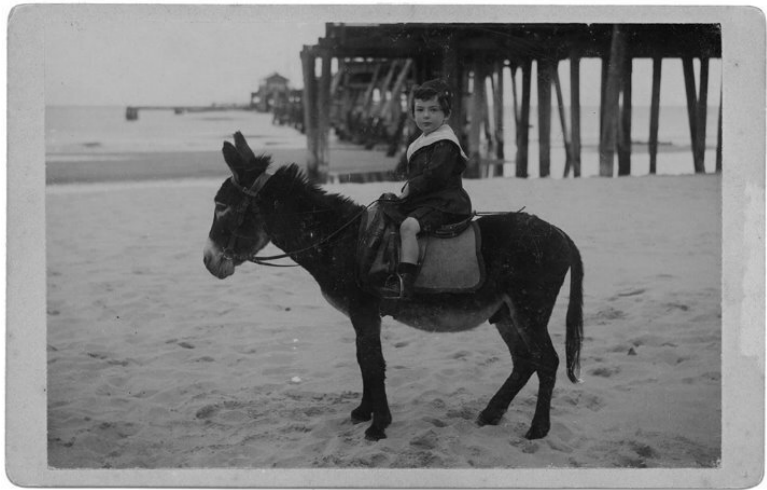
Характерная для него форма обхождения отличалась подчеркнутой вежливостью, которая устанавливала естественную дистанцию и, казалось, требовала от партнёра аналогичного поведения. В моём случае это было особенно сложным, так как от природы я не склонен к вежливости – и с самой молодости ходили слухи о моём провокативном поведении. Беньямин, которому претили обычные для Берлина беспардонность и неотёсанность, сполна постигнутые мной в отношениях с друзьями юности, был, пожалуй, единственным человеком, в общении с которым я почти всегда употреблял вежливые формы. Правда, существовал один пункт, где я мог расквитаться с ним. Беньямин выражался изысканно, но не демонстративно, иногда – без особого успеха и, скорее, подражательно – прибегая к берлинскому диалекту, в котором, однако, чувствовал себя не вполне уверенно. Ведь он родился и вырос в старом районе западной части города, где берлинский диалект был уже не тот – тогда как сам я происходил из Альт-Берлина²⁴, и диалект, как и формы обхождения Фридрихсграхта²⁵ и Меркишен Фиртеля²⁶, были для меня естественными. Поэтому – если речь шла не о философии и теологии – я охотно переходил на чистый берлинский диалект, в котором превосходил его, и это его поразительно

веселило и занимало. Зато я решительно уступал ему в литературном немецком. Его манера выражаться со временем заметно повлияла на меня, я перенял у него немало маньеризмов, как, например, выразительную постановку местоимения «себя» в возвратных глаголах. Словом наивысшего признания у Бенямина было «необыкновенно» – и произносилось оно всегда с особой интонацией. Из критических терминов высоко котиновалась «объективная лживость». Еврейские обороты речи он тогда совсем не использовал и начал их применять лишь впоследствии, под влиянием Доры и моим. Я должен признаться, к своему стыду, что позволил себе в одном месте его письма [B. I. S. 381]²⁷ выбросить такой оборот речи и заменить его точками.



Вальтер Беньямин в Национальной библиотеке. Париж, 1939 г.

Фото Жизели Фройнд. Архив Теодора Адорно, Франк-фурт-на-Майне



Вальтер Беньямин. Херингсдорф, 1896 г. Фото: студия *Joël-Heinzelmann*. Архив Академии искусств, Берлин

Когда я познакомился с Беньямином, ему только что исполнилось 23 года, а мне было 17 с половиной. Поэтому его «профайл» был, конечно, образованнее моего, хотя я уже решительно придерживался своей линии, тогда как он, порвав с «Молодёжным движением», которое значило для него очень много, ещё не вступил на новый путь. Наше будущее было для нас обоих неясным. Ведь при всей общности взглядов наш социальный фон был всё-таки весьма несхожим. Беньямин происходил из семьи, принадлежавшей к крупной буржуазии, а временами прямо-таки богатой, я же – из на-

ходившейся на подъёме мелкой еврейской буржуазии, и семья наша никогда не была богатой, но всегда лишь зажиточной²⁸. Наши жизненные пути различались почти драматически, хотя мы сами осознавали это лишь наполовину. То, что сыновья в ассимилированных семьях посвящали себя «Свободному немецкому студенчеству», «Молодёжному движению» и лелеяли литературные амбиции, встречалось повсеместно. Но вот то, что один из них со страстью набросился на изучение Талмуда, хотя происходил из неортодоксальной семьи, а также искал путь к некоей иудейской субстанции и её историческому развёртыванию, было весьма необычным даже в среде сионистов, а их в те годы насчитывалось немало. Пока Бенъямин посвящал себя «Молодёжному движению», я начал изучение упомянутых тем. В дни, когда я посетил его впервые, мы с другом моей юности Эрихом Брауэром, который был тогда графиком, решили издавать журнал «Бело-голубые очки» <*Die blauweiße Brille*> (вышли три его номера)²⁹, который должен был представлять оппозицию радикальной сионистской молодёжи по отношению к войне и к впавшим в военный психоз сионистским кругам. При первом моём визите Бенъямин дал мне почитать первые девять номеров журнала «Начало», которые я – видевший этот журнал ещё в 1914 году у одного соученика – ещё раз внимательно прочитал, но снова не был впечатлён. Даже к собственным статьям Бенъямина я в этот период оставался равнодушным.

Несколько дней спустя Бенъямин пришёл ко мне вечером, и в долгом разговоре мы ощутимо сблизились. Я высказал ему возражения против журнала «Начало», а он сказал, что расстался с этим миром, который рухнул с началом войны, в особенности оттого, что важнейший для него человек из этого мира, его друг Хейнле – о котором в дальнейшем он всегда говорил просто «мой друг» – через несколько дней после начала войны покончил с собой вдвоём с подругой. Я рассказал ему о двух группах оппозиции, которые тогда занимали меня – о сионистской «Младоиудее» и о социал-демократически настроенных крайних левых. Он предложил мне позвать его на одну из дискуссий в «Младоиудею», когда я буду выступать. Он сказал, что еврейство ему очень интересно, хотя он о нём вообще ничего не знает. У меня же было ощущение, что в этом кругу ему будет неуютно, и я не откликнулся на его инициативу. Уже в то время я был помешан на книгах и собрал немалую библиотеку, где он находил много интересующих его вещей. Особенно его заинтересовала монография Густава Ландауэра «Революция»³⁰, от которой я тогда был в восторге. Я подарил ему экземпляр первого номера «Интернационала» и дал почитать несколько номеров журнала «Лучи света» <*Lichtstrahlen*>, издававшегося Юлианом Борхардтом и единственного тогда ещё легально выходившего органа «Циммервальдской левой»³¹ в социалистическом Интернационале, ориентированном на строго антивоенную политику. В то время мы начали вести довольно продолжительные

беседы о Канте, чью «Критику чистого разума» я тогда читал в издании Макса Дессуара. Бенъямин честно сознался, что всегда доходил лишь до «трансцендентальной дедукции», да и ту не понял. Мы говорили о Кантовой теории априорных синтетических суждений, о математике и об Анри Пуанкаре, чья критика этой теории³², произведшая на меня сильное впечатление, поразительным образом – ведь у Бенъямина не было больших познаний в математике – оказалась в целом известной и ему, хотя не показалась ему убедительной. Он же объяснил мне шеллинговское решение этой проблемы, о котором я ничего не знал.

Позднее я сопровождал его на какую-то встречу, назначенную на Унтер-ден-Линден, и он рассказывал мне, как в 1914 году собирался освободиться от военной службы под видом больного дрожательным параличом. Я записал это в дневник, но без подробностей – по понятным причинам я о таких вещах ничего не записывал, в том числе и тогда, когда речь шла о моих собственных военных переживаниях и связях. Лишь позднее он рассказал мне о том, что с несколькими друзьями из «Молодёжного движения» в первые дни августа в Берлине записался добровольцем, и не из-за военного энтузиазма, а опережая неотвратимый призыв так, чтобы не разлучаться с друзьями и единомышленниками. Об этом же он написал в «Берлинской хронике»³³. Однако тогда ему отказали, а кончина Хейнле впоследствии изменила его настрой. При очередном освидетельствовании его года рож-

дения, проходившем в сентябре или октябре 1914 года, он симулировал дрожательный паралич, заранее натренировавшись. Из-за этого его призыв отложили на год. Гораздо позднее он рассказывал знакомым невероятно подчищенный вариант этих событий, истинную суть которых он сообщил мне тогда ещё в неискажённом виде.

В ту пору он представил мне свою невесту Грету Радт, о которой при следующих встречах говорил мне как о жене, что меня удивляло. Носил он, как и прежде, кольцо на левой руке, свидетельствующее лишь о помолвке. После знакомства я уехал и при жизни Беньямина больше не видел Грету Радт. Однако 50 лет спустя в Париже она рассказала мне, что эта помолвка состоялась по недоразумению. Близкая дружба у них с Беньямином была с 1913 года, а в июле 1914 года они вместе провели некоторое время в Баварских Альпах. В конце июля его отец прислал ему телеграмму-предупреждение «*sapienti sat*»³⁴, видимо, для того, чтобы побудить его бежать от военного призыва в Швейцарию. Однако Беньямин неправильно понял эту депешу и в ответ официально известил отца, что обручён с Гретой Радт.

Спустя десять дней мы вновь встретились на несколько часов. Тогда вышел из печати первый номер издававшегося Эрнстом Йоэлем журнала «Прорыв» <*Der Aufbruch*>, который вскоре был запрещён из-за своей антивоенной позиции. Йоэля отчислили из университета, что вызвало неко-

торуую шумиху из-за весьма нечестной процедуры исключения. Бенъямин рассказывал мне, что когда его самого избрали президентом ассоциации «Свободного студенчества» в Берлине, Йоэль был одним из вожаков настроенной против него оппозиции. Йоэль был главой группы, ориентированной на социально-политическую работу, тогда как Бенъямин считал это направление тупиковым и – как доказывает его статья «Жизнь студентов» (написанная на основе его вступительной речи в качестве президента) – выступал за «обновление» интеллектуалов. Бенъямин рассказывал, что Йоэль ждал от него сотрудничества в журнале, а он отказался, подробно обосновав свой отказ. Однако мне он не говорил, в чём заключались эти основания. Номер журнала содержал также статьи Густава Ландауэра и Курта Хиллера, которые по своим характерам не подходили друг другу, но здесь выступили вместе в журнале – как мы считали, хаотичном и, при всём своём антивоенном характере, лишённом направления. Бенъямин очень хорошо проанализировал статью Ландауэра, которую я защищал. В отличие от «Прорыва», Бенъямин сильно расхваливал мой номер «Интернационала», где ему больше всего импонировала строгая объективность статей. Таким образом, мы подошли к разговору о социализме, марксизме и философии истории, а также к вопросу о том, как должен выглядеть труд по истории, если в нём действительно будет история. Бенъямин согласился, что в истории невозможно установить законы, хотя и придер-

живался своего определения: история есть «объективное во времени, *познаваемое* объективное». В этом он видел выход для возможности научно подтвердить такое объективное. Он признавался, что до сих пор ему этого не удавалось, тогда как я стремился доказать невозможность такого предприятия. Наконец, каждый из нас сказал: «Вот когда Вы проживёте жизнь, то поймёте, что я был прав». Бенъямин отрицательно отзывался о психологической историографии Карла Лампрехта, о которой я с ним заговорил, а затем в этой связи вновь вспомнил Бубера, которому ставил в упрёк схематичную психологическую философию истории – что оспаривал я, в те годы ценивший философию Бубера гораздо выше. Бенъямин ни во что не ставил буберовские комментарии на книгу Даниила (1913)³⁵ и рассказывал, что в ассоциации «Свободного студенчества» у него с Бубером состоялась продолжительная дискуссия на эту тему. На меня же эта книга произвела впечатление, однако гораздо больше мне нравилось Буберово послесловие к «Речам и притчам Чжуан-цзы»³⁶, превосходной книге, которую Бенъямин не знал, а я обещал ему дать почитать. Он рассказал мне, что теперь занят переводами из Бодлера. И действительно, на его большом письменном столе, у которого я сидел напротив него перед тем, как мы начали ходить по комнате, споря и жестикулируя, лежали очень красивое ровольтовское издание 1909-го или 1910 года *Fleurs du mal*³⁷, несколько томов Гёльдер-

лина, вышедших в издательстве Insel³⁸ – не Гёльдерлин под редакцией Норберта фон Хеллинграта, вышедший у Георга Мюллера³⁹ (впоследствии Бенъямин пользовался только этим изданием⁴⁰), – и «Графология» Крепье-Жамена⁴¹, указывавшая на интенсивные занятия Бенъямина в этой сфере. Кроме того, на столе лежало несколько блокнотов разного формата, один из которых выделялся крошечными размерами.

15 августа, в пятницу вечером, Бенъямин пригласил меня к ужину, где он познакомил меня со своими родителями и с сестрой Дорой, которой было тогда лет 15–16. Он предупредил меня, что его отношения с семьёй не слишком безоблачны. С братом Георгом, который впоследствии стал врачом и активистом коммунистического движения, Бенъямин познакомил меня лишь позднее, когда представилась возможность. Но мне не приходилось говорить с Георгом ни о чём серьёзном, мы обменивались лишь пустыми вежливыми фразами. Бенъямин прочёл мне четыре стихотворения из *Fleurs du mal* в своём переводе и в переводе Стефана Георге. Он читал очень красиво, совсем не в стиле круга Георге. Во всех четырёх случаях я принимал его переводы за переводы Георге. А в двух случаях так и остался уверен, что его перевод лучше.

Я рассказал ему о своём переводе Песни Песней, над пер-

вым вариантом которого тогда работал. Он считал эту работу чрезвычайно трудной, свою же – наоборот, пустячком. Мы заговорили о Библии, и он показал мне перевод, изданный Леопольдом Цунцем в 1830-е годы⁴², о стиле которого он был высокого мнения и который – по его словам – часто и много читал. Я сказал ему, что перед нашей встречей побывал на пятничном вечернем богослужении в Старой синагоге, чья строго ортодоксальная литургия привлекала меня характерным способом декламации. Я рассказал ему, как выучил древнееврейский и о том, что до сих пор глубоко погружён в занятия этим языком. Он спросил: «По сколько часов в неделю Вы учили его?». Я ответил: «От 10 до 15 часов, меньше нельзя». Я рассказал ему, что дважды в неделю по вечерам изучал Талмуд по 2–3 часа – и это его чрезвычайно заинтересовало. Бенъямин хотел знать, как всё это происходит, и я постарался объяснить ему, что так очаровало меня в чтении талмудических дискуссий. Тогда мы – в кружке от 6 до 8 человек – изучали трактат об оформлении свидетельств о разводе, и я объяснил ему, как проходит такая галахическая дискуссия, когда учитель Писания подходит к предмету со всех сторон, зачастую в связи с по-разному интерпретируемым стихом Библии. К моему удивлению, Бенъямин сказал: «Так, например, как у Зиммеля». Тогда я имел ещё очень смутное представление о Георге Зиммеле, а сам Зиммель только что уехал из Берлина; замечание Бенъямина побудило меня прочесть некоторые труды Зиммеля, и они мне дол-

гое время нравились гораздо меньше, чем Талмуд, с образом мысли которого они действительно имели родство. Я расхваливал ему своего учителя, д-ра Исаака Блейхроде, благочестивого, уединённо живущего и скромного раввина из небольшого союза частных синагог в нашей местности, правнука одного из последних великих талмудистов Германии в начале XIX века, который великолепно разбирался в Талмуде, мог истолковать любую его страницу и вообще передавать из поколения в поколение иудейские традиции. Бенъямин вздохнул и воскликнул: «Ах, если бы такое было в философии!». Я заметил: «Но ведь Вы же учились у Риккерта», который тогда считался одним из наиболее проницательных и успешных преподавателей философии. Бенъямин сказал, что он разочаровался в Риккертe, который действительно очень умён, но неглубок. Потом он показал мне драгоценные приобретения своей библиотеки, «Уголино» Герстенберга – драму, которую он мне очень расхваливал и дал почитать более позднее её издание – и первое издание «Од» Клопштока, из которого прочитал мне красивым голосом короткое стихотворение «К Цидли» («Цидли, ты плачешь, а я, конечно, дремлю...»), это стихотворение он объявил одним из прекраснейших на немецком языке. После этого я купил себе рекламовское издание «Од» и сохранил его по сей день в память о нашей встрече. Бенъямин вообще очень охотно декламировал. Я помню, что, кроме Бодлера, слышал в его исполнении также Пиндара, Гёльдерлина и Мёрике. Позднее

в Швейцарии он вечерами читал и стихи из венка сонетов на смерть Хейнле и говорил, что хочет написать пятьдесят таких сонетов – на что я рассказал ему о «Пятидесяти вратах понимания», которые, согласно Талмуду, были открыты Моисею, кроме последних – что Бенъямину очень понравилось.

В один из этих вечеров, когда мы ещё раз обсуждали уже запрещённый к тому времени журнал «Прорыв» Эрнста Йоэля, Бенъямин с негодованием показал мне почтовую карточку от Курта Хиллера, «активиста»; на адресной стороне карточки была приписка, до сих пор стоящая у меня перед глазами: «Я только что услышал, что Йоэль крестился. Вы, наверное, тоже крещены? Я обнаружил, что крещение и невесёлое расположение духа взаимосвязаны». Бенъямин воскликнул: «И это на открытке!». Я спросил, зачем он – в таком случае – общается со столь бестактным человеком. Он же ответил, что знает Хиллера уже несколько лет, с эпохи «Неопатетического кабаре» (основанного в 1910 году зародыша экспрессионизма), и ценит его как, в сущности, человека очень приличного – оценка, на которую Хиллер, кстати, не отвечал тем же самым, ненавидя Бенъямина, о чём он в 1944 году, услышав о кончине Бенъямина, злобно распространялся в письме к Эрвину Лёвензону, которое находится у меня в распоряжении. Когда мы вели этот разговор, Бенъямин уже согласился дать свою статью «Жизнь студентов»⁴³ для сборника Хиллера «Цель», который готовился к печати.

Когда в феврале 1916 года книга вышла, я написал Беньямину письмо, полное энтузиазма в отношении открыто взятой в ней антивоенной позиции, удивляясь лишь, как подобный революционный призыв мог пройти цензуру. Ответное письмо Беньямина от 2 марта 1916 года остудило мой пыл. «О “Цели” я совсем иного мнения, чем Вы, впрочем, для меня важны моя собственная статья и статья Верфеля, а больше ничьи. Я надеюсь подробно рассказать Вам причины этого в Берлине». Статья Верфеля, иронически озаглавленная «Разговор с государственным деятелем», была направлена против активизма, политической философии Курта Хиллера. Беньямин впоследствии устно объяснил мне своё глубокое отвращение к рационализму большинства статей из этого сборника, и особенно – к статьям Хиллера, Людвига Рубинера, который тогда был решительным анархистом, и Альфреда Вольфенштейна. Мы безрезультатно спорили о статье Генриха Манна «Дух и дело», которую я считал превосходной, а Беньямин отвергал по непонятным мне причинам.

Беньямин тогда намеревался съездить на пару недель в Бад-Арендзее⁴⁴, где обещал прочесть буберовского «Чжуан-цзы», которого я ему привёз. Но собрался он в эту поездку лишь позже, между 8 и 22 сентября 1915 года, а перед этим его задержали другие дела. По его возвращении и до его отъезда в Мюнхен, где он хотел учиться в следующем семестре, я ещё трижды подробно беседовал с ним. 1 ок-

тября он говорил о Гёльдерлине и дал мне – что лишь впоследствии прояснилось для меня как знак большого доверия – машинописную копию своей работы «Два стихотворения Фридриха Гёльдерлина», глубоко вдающийся в метафизику анализ двух стихотворений: «Мужество поэта» и «Робость» – проделанный Бенямином в первую военную зиму 1914–1915 годов⁴⁵. Гёльдерлин – под влиянием его нового открытия, сделанного школой Георге – превратился в кругах, где Бенямин вращался между 1911-м и 1914-м годами, в одну из высочайших поэтических фигур – и с точки зрения Бенямина его покойный друг Хейнле, «кристально чистый лирик», как определил Хейнле в разговоре со мной теперь тоже покойный Людвиг Штраус, представлял собой явление, родственное Гёльдерлину. Смерть унесла Хейнле в сферу неприкосновенности, которую можно ощутить в каждом высказывании Бенямина о нём. Но при жизни Хейнле между друзьями не было недостатка в серьёзном напряжении – что отчётливо явствует из заметок Бенямина в «Берлинской хронике». В этом разговоре о Гёльдерлине я также впервые услышал от Бенямина ссылку на издание Гёльдерлина, подготовленное Норбертом фон Хеллингратом, и узнал о его работе над переводами Гёльдерлина из Пиндара, которые произвели на него глубокое впечатление. Но в таких вещах я тогда мало что понимал.

В другой вечер мы начали играть в шахматы, обнаружив, что оба любим играть – впрочем, без чрезмерной теоретиче-

ской подготовки. Мы часто играли в шахматы и в последующие годы, особенно в Швейцарии.

Я как сейчас помню ночь с 20-го на 21 октября, перед переосвидетельствованием Беньямина. По его просьбе я провёл с ним эту ночь до утра, сначала несколько часов в разговорах в новом Café des Westens на Курфюрстендамм⁴⁶, а затем играя в шахматы и карты («от 66 до 1000», вырожденная разновидность весьма распространённой тогда игры в «шестьдесят шесть») в его комнате на Дельбрюкштрассе, и при этом он пил значительные количества чёрного кофе, как тогда многие практиковали перед переосвидетельствованием. Мы сидели вместе с девяти часов вечера до шести утра. В Café des Westens он рассказывал кое-что о себе и о своём пребывании в «Молодёжном движении» — о чём обычно говорил очень мало. Тогда я впервые услышал имя Симона Гутмана, который играл большую роль в «Неопатетическом кабаре» и в кругах журнала «Начало» и был упомянут Беньямином — после их разрыва — лишь в смутных намёках как демоническая фигура. Гутман участвовал в раздорах и скандалах в «Дискуссионном клубе» «Молодёжного движения», пытаясь путём переворота поставить Беньямина и Хейнле редакторами «Начала» вместо Барбизона и Бернфельда. Беньямин рассказывал также, что его бабушка с отцовской стороны, Брунелла Мейер, которая тогда была ещё жива, происходит из семьи ван Гельдерн, семьи матери Генриха Гейне.

Впоследствии я обнаружил, что имя Брунелла, которое в еврейских семьях часто – по крайней мере, официально – заменяло имя девочек Брайна или Бройнле, в семье ван Гельдерн считалось наследственным с начала XVIII века. У Беньямина тогда ещё был родственник из этой семьи в Рейнланде, по моему, в Мюльгейме под Кёльном. Он рассказал мне также, что его мать была сестрой прежде очень известного математика Артура Шёнфлиса, который впоследствии стал ординарным профессором во Франкфурте-на-Майне. Что же касается круга «Молодёжного движения», то Беньямин говорил о нём весьма общо, не вдаваясь в подробности катастроф и напряжений, о которых упоминал лишь намёками. (У меня есть несколько документов об этом, в основном от Барбизона.) Он говорил лишь о культе гения, царившем в этом кругу.

Von Berliner

Stammtischen.

Die «Modernen» an
in einem Café
Paul Scher-
bail (*).

Ihrem Stammtisch
des Westens.
Berliner Ill.-Ztg.
1906.



Café des Westens Ernst Pauly, W. 15, Kurfürstendamm 26

Вверху: *Café des Westens*. Снимок из газеты *Berliner Tageblatt* от 2 мая 1905 г. Слева направо: жена П. Шеербарта Анна Зоммер, Самуэль Люблински, Соломон Фридлендер, Пауль Шеербарт, Эльза Ласкер-Шюлер, Херварт Вальден.

Внизу: почтовая открытка с интерьером *Café des Westens*

После описанной ночи Бенъямину удалось получить год отсрочки, тогда как сам я, только что выдержав выпускной экзамен экстерном перед комиссией, должен был ждать призыва на военную службу. Бенъямин, как и намеревался, уехал в конце октября в Мюнхен, где училась и Грета Радт. О нём долго не было известий, и лишь когда я – объявленный врачом негодным к военной службе вскоре после моего призыва в Верденна-Аллере – известил его в начале декабря о моём увольнении из армии и о возобновлении учебы, он вновь начал мне писать. Но он боялся вскрытия писем цензурой и моих неосторожных высказываний на политические темы. «Между Берлином и Мюнхеном цензуры нет, – писал он мне, – но, несмотря на это, рекомендуется всяческая [дважды подчёркнуто!] мудрость, *prudentia*⁴⁷. Это я прошу Вас серьёзно принять во внимание».

КРЕПНУЩАЯ ДРУЖБА (1916–1917)

В начале марта Бенъямин сообщил мне, что вернётся примерно 15-го числа, и мы сможем подробнее обсудить поставленные в моих письмах вопросы о Платоне, о котором я тогда много читал, и предложенные мною критические рассуждения по математике. Я с нетерпением ждал этого. В дневник я записал: «Если долго о чём-то думаешь, тебя возвышает возможность общности с плодотворным и благоговеемым. С Брауэром (другом моей юности) я не могу об этом говорить, да и с другими тоже: я не могу говорить с сионистами о своих сионистских делах, на самом деле – это угнетающий факт для обеих сторон... Мне приходится идти к несионисту и нематематику Бенъямину, у него есть некий орган там, где большинство других уже ничего не воспринимает». Но у меня почти не осталось воспоминаний о многообразных беседах, которые мы вели тогда в Берлине с 9 апреля до конца месяца.

Когда Бенъямин уехал в Мюнхен, где хотел поработать в уединении, он надеялся найти там Людвига Клагеса, чьи графологические сочинения привлекали его, как он упоминал *en passant*⁴⁸. Но Клагеса в Мюнхене не оказалось – теперь мы знаем, что за два месяца до этого он уехал в Швейцарию, так

как тоже полностью отвергал тогдашнюю войну. Почти 14 месяцев, проведённые Бенямином в Мюнхене, стали решающими для его последующей жизни. Весной была расторгнута помолвка с Гретой Радт и началась его связь с Дорой Поллак – она жила в Зеесхаупте на озере Штарнбергзее⁴⁹ на вилле своего (очень богатого) мужа, с которым она в том же году развелась. Дора, родом из Вены, была дочерью известного англиста и специалиста по Шекспиру, профессора Леона Кельнера, сиониста «первого призыва» и близкого друга, а впоследствии – душеприказчика Теодора Герцля; Кельнер был ответственным редактором герцлевских «Сочинений по сионизму» и дневников⁵⁰. То есть она росла в сионистской среде, но впоследствии отдалилась от неё и, выйдя в Берлине замуж за Макса Поллака, примкнула к «Молодёжному движению». В «Берлинском дискуссионном клубе» она играла важную, пусть и общественную, роль. В детстве она год проучилась в Англии и превосходно знала английский, была очень музыкальна и играла на фортепьяно, но в первую очередь обладала сильной восприимчивостью и способностью к живому отклику и усвоению того, что считала важным. У неё была живая речь с заметным венским выговором, она умела заводить разговоры или переключать их на другую тему. Один член этой группы, живший по соседству с Максом и Дорой Поллак, рассказывал мне, что на него и на других выступления Доры производили большое впечатление, и все они были в неё немного влюблены. Некоторые опубли-

ликованные письма Бенъямина этого периода (1914) свидетельствуют о её тогдашнем участии и дружественном отношении к Бенъямину. В апреле 1915 года, когда Дора жила ещё в Зеесхаупте, они с Бенъямином предприняли поездку в Женеву, чтобы навестить друга юности и соученика Бенъямина Герберта Блюменталья (впоследствии Бельмор), который долго поддерживал тесную дружбу с обоими и принимал живое участие в «Молодёжном движении». Блюменталь был гражданином Англии и за несколько месяцев до войны – видимо, ради дальнейшего образования, а он был график – уехал в Англию, а после начала войны переселился в Швейцарию, где женился на Карле Зелигзон, с которой Бенъямин дружил в 1913–1914 годах (некоторое время между ними было сильное влечение). Существуют письма Доры к Блюменталю, которые подробно рассказывают о трениях в «Молодёжном движении» весной 1914 года и показывают, что уже тогда они признавали в Бенъямине самый значительный ум этого движения. Но в середине мая 1915 года Дора рассталась с Бенъямином, чтобы, как она писала в одном письме, «спасти себе жизнь». И только в начале 1916 года они возобновили общение.

Когда я вспоминаю, что между нами было общего после этих первых встреч, то вижу несколько приметных вещей. Я назвал бы непоколебимость в следовании духовной цели; отторжение от среды немецко-еврейской буржуазной асси-

милляции – и положительное отношение к метафизике. Мы были сторонниками радикальных требований. В университетах у нас обоих не было, по существу, учителей в полном смысле слова, мы занимались самообразованием, каждый на свой лад. Не припомню, чтобы кто-то из нас с энтузиазмом говорил о ком-то из преподавателей, а если мы кого и хвалили, то это были чудачки и неудачники, скажем, языковед Эрнст Леви со стороны Бенямина и Готтлоб Фреге с моей. Доцентов по философии мы всерьёз не воспринимали – может быть, самонадеянно. К примеру, я был разочарован курсом лекций Эрнста Кассирера по греческой доплатоновской философии зимой 1916–1917 годов, а Бенямин, ни во что не ставя Рилья, отговорил меня от участия в его семинаре по кантовским «Пролегоменах». Он процитировал шутку, ходившую о профессорах Штумпфе и Риле: «В Берлине философия выкорчевана со Штумпфом и Рилем»⁵¹. Он говорил в те годы без всякого почтения и о Риккертe, хотя и признавал за ним острый ум; но и этого мне было достаточно, чтобы изучить одно из поздних изданий труда Риккерта «Предмет познания»⁵². Мы пробивались к своим звёздам без академических руководителей. В разговоре о произведениях Франца фон Баадера, который мы вели в Швейцарии – насколько я помню, они, да ещё сочинения Платона, были единственными полными собраниями философских трудов в библиотеке Бенямина, – мы пытались вообразить, каким должен быть уровень слушателей, чтобы они могли усвоить лекции тако-

го духовного полёта и такой глубины. Я как раз прочёл тогда баадеровские «Лекции по теории жертвы по Якобу Бёме»⁵³ и сообщил об этом. Баадер импонировал Бенъямину больше, чем Шеллинг, у которого он в свой период «Свободного студенчества», кроме разбора Канта, прочёл только «Лекции о методе академического исследования»⁵⁴.

Об Эрнсте Леви мы заговорили в апреле 1916 года, когда я рассказал Бенъямину о приобретении у антиквара издания «Сочинений по философии языка» Вильгельма фон Гумбольдта под редакцией Штейнтала⁵⁵. Я натолкнулся на него при чтении «Докладов к критике языка» Фрица Маутнера⁵⁶, над которыми тогда упражнялся. Бенъямин был поражён и сообщил мне, что в одном из своих ранних семестров участвовал в семинарах Эрнста Леви по гумбольдтовской философии языка; введение Леви к Гумбольдту произвело на него особенное впечатление. А именно: Эрнст Леви предлагал одному из студентов прочесть большой отрывок из выборки сочинений Гумбольдта, возможно, и из того самого штейнталевского издания, а затем спрашивал: «Вы это понимаете? Вот я – нет». Такими и подобными замечаниями он распугивал большинство, так что на второй час являлось немного студентов, среди них – Бенъямин. И тогда Леви говорил: «Итак, мы избавились от плебеев и можем начинать», – и после этого у него были очень интересные занятия. Бенъямин рассказал мне историю своеобразного скан-

дала, случившегося при габилизации⁵⁷ Леви в Гёттингене, где тому – хотя он отвечал всем прочим требованиям – было отказано в *venia legendi*⁵⁸ из-за чисто формальной «испытательной лекции» на тему «О языке раннего Гёте». Он тогда пытался обосновать утверждение, будто в языке раннего Гёте происходит сдвиг от индоевропейского языкового типа к финно-угорскому⁵⁹, которому были посвящены специальные исследования Леви. Гёттингенский факультет воспринял это как кощунство по отношению к Гёте, а Леви удалось добиться габилизации в Берлине лишь позднее и с более безобидной темой. Бенъямин дал мне почитать брошюру с этой вступительной лекцией (затем я купил её за пятьдесят пфеннигов); в предисловии к ней автор намекал на происшествие в Гёттингене лишь в совершенно непрозрачной и «благородной» форме.

Трудности в общении с Бенъямином были серьёзные, хотя со стороны это не было очевидным из-за его безупречной вежливости и готовности выслушивать и обсуждать мнения других людей. Вокруг него всегда была зона сдержанности, которая передавалась собеседнику даже без особых приёмов, к каким он нередко прибегал с целью сделать их ощутимыми. Эти приёмы состояли главным образом в манере таинственности, доходящей до эксцентричности, которая распространялась на всё, что касалось его лично, хотя

иной раз она внезапно нарушалась кровотечениями чрезвычайно интимными и личными. Трудностей общения было три. Выдержать первую – уважение к его одиночеству – было легко, она диктовалась естественным чувством границы. Мне быстро стало ясно, что он ценил это уважение, оно было предварительным условием общения с ним и повышало его доверие к собеседнику. Столь же легко было соблюсти и второе его условие – отказ от обсуждения политической злобы дня и военных действий. После публикации «Писем» Беньямина рецензенты удивлялись, что в них не содержится никаких ссылок на злободневные события Первой мировой войны, которая, как-никак, наложила отпечаток на людей моего поколения, и считали это упущением составителей – а за этот период отвечал я, – если не результатом цензурирования. В действительности же в те годы с Беньямином мог близко общаться лишь тот, кто – вроде меня – разделял или учитывал упомянутую установку. Мы разговаривали о нашем принципиальном отношении к войне, но никогда не обсуждали конкретных её событий. Ведь это было между 1916-м и 1918-м годами, зона, по умолчанию выносимая за скобки, и его письма тех лет аутентично отражают это положение вещей. А вот соблюдение третьего условия, а именно – обходить молчанием его склонность к секретничанью, часто требовало усилий, так как у этого серьёзного и даже меланхоличного человека в этой склонности заключалось нечто смехотворное. Беньямин старался избегать

упоминания имён друзей и знакомых. Если дело касалось обстоятельств его жизни, он настаивал на полной секретности, которая была оправдана лишь в небольшой части. Постепенно это скрытничанье, заметное и другим его собеседникам, разрушалось, и он начинал, но всегда по собственной воле, говорить о людях, не превращая их в анонимов. Этому избеганию имён отвечало и желание Бенямина держать своих знакомых изолированными друг от друга, и со мной, происходившим из другой среды, среды сионистской молодёжи, это удавалось лучше, чем с представителями его сферы – немецко-еврейской интеллигенции. И лишь случайно выяснялось, что у нас есть общие знакомые, например, поэт Людвиг Штраус и философ Давид Баумгардт. С другими его друзьями и знакомыми я познакомился годы спустя, начиная с 1918-го (а с некоторыми – лишь после 1945-го). Подводя итоги, я бы сказал, что для общения с Бенямином требовалось много терпения и такта. А эти свойства чужды моему темпераменту, и я смог их развить лишь в общении с ним.

Сюда добавлялось непосредственное впечатление гениальности: ясность, которая часто проступала сквозь его сумрачное мышление; энергия и острота, с какими он экспериментировал в разговоре, и приправленная шутливыми формулировками неожиданная серьёзность, с какой он входил в подробности бурливших во мне вещей, основные моменты которых – неотложность моих сионистских убеждений и вопросы моего математико-философского выбора темы для

исследований – были всё же далеки от него. Но он был хорошим слушателем, хотя и сам говорил охотно и много. В своём визави Бенъямин предполагал гораздо более высокий уровень образования, чем был на самом деле. Если я говорил, что чего-то не знаю, он делал большие глаза. Он задавал очень хорошие, часто неожиданные вопросы. О немецком участии в развязывании войны он в 1915 году не мог вдоволь наслушаться, и я достал ему несколько брошюр, циркулировавших тогда среди левых социал-демократов, с доказательством про-военной позиции Австрии и Германии. Бенъямин отнюдь не был «убеждённым пацифистом», как то и дело приходится читать. С этой войной он не хотел иметь ничего общего, но не из-за пацифистской идеологии, которая была ему совсем не по душе. Впоследствии мы почти не говорили о таких вещах. В нём бросалась в глаза ещё и чрезвычайная чувствительность к шуму, о которой он часто говорил как о «шумовом психозе». Это могло его доконать. Как-то он писал мне: «Есть ли покой у других людей? Хотел бы я знать».

В его мюнхенский период я посетил Бенъямина лишь дважды. Летом 1916 года по рекомендации врачей я не учился в университете, а задержался в Гейдельберге, откуда поехал (отчасти шёл пешком) через Мюнхен в Альгой⁶⁰ и оставался там до конца августа. С 16 по 18 июня мы с Бенъямином были в Мюнхене и Зеесхаупте, но с Дорой я тогда не познакомился. Он жил в небольшой комнате в Английском саду⁶¹,

на Кёнигинштрассе, 4. Я проводил его затем в Зеесхаупт к его друзьям, имён которых он не называл, и я остался на вечер в отеле. Тогда вышел первый номер журнала Бубера «Еврей»⁶², основные статьи в котором не понравились нам обоим, а вот второй номер я счёл действительно хорошим. У нас состоялся долгий разговор о еврейских проблемах, так как Бенямина пригласили сотрудничать в этом журнале и он хотел обсудить свою позицию со мной. Ещё после Гейдельберга он написал мне: «У меня есть намерение – только это между нами – направить Буберу открытое письмо по поводу “Еврея”. Но не отложить ли мне это до тех пор, пока не поговорю с Вами?». То есть письмо изначально должно было содержать полемическую ноту, которая в фактическом письме оказалась сильно приглушённой. В нашем разговоре у меня сложилось впечатление, что он «дошёл до еврейства и того и гляди испытает потребность выучить древнееврейский». Я много рассказывал ему о том, как продолжал заниматься иудаикой. «В “Еврее”, – записал я тогда в дневник, – он, конечно, не может и не будет сотрудничать, поскольку его теперешняя позиция исключает занятия литературой, как я уже заранее сказал Буберу [при посещении его в мае в Геппенгейме]⁶³, где Бубер рассказал мне о посланном Бенямином приглашении]. Ему впору проклясть то, что люди вообще основывают журналы такого рода, не говоря уже о его претензиях к конкретному вышедшему журналу», а именно – недостаток объективности и избыток риторики. Особенный

гнев Бенямина вызывали статьи самого Бубера и Гуго Бергмана. И наоборот, он находил превосходной переведённую с иврита длинную статью А.Д. Гордона, сельскохозяйственного рабочего в кевуце¹ Дагания и центральной фигуры в начале движения кибуцев. Гордон был толстовцем, который пытался применить на практике свои учения, но в то же время – глубоко привязанным к традиционному иудаизму человеком, чьи статьи между 1910-м и 1922-м годами оказали большое влияние на зачатки социалистических поселений в Израиле.

В результате нашей беседы Бенямин написал достопамятное письмо к Буберу в начале июля 1916 года, которое напечатано в «Письмах» [B. I. S. 125 и далее].

Когда я был в Оберстдорфе, он пригласил меня от имени друзей на три дня в Зеесхаупт, где я жил на вилле Поллака. Нужно было поддерживать легенду, будто Максу Поллаку пришлось неожиданно уехать, тогда как на самом деле супруги находились в разводе. Меня умоляли хранить тайну о месте визита. Мы с Бенямином встретились в Мюнхене, где он рассказал мне, что не предпримет запланированную поездку, о которой он писал мне прежде, из-за ожидаемого с минуты на минуту переосвидетельствования. Для

¹ Кевуцей называлась небольшая группа для основания общинного поселения по социалистическим принципам, кибуц – аналогичное поселение из большего количества жителей.

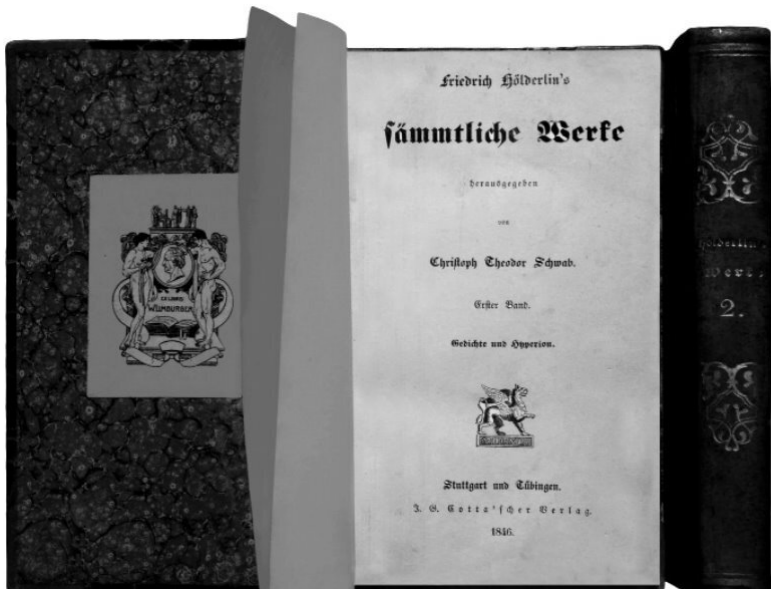
этого он поедет на следующей неделе в Берлин, а я должен всё это время оставаться в Зеесхаупте, если получится. Он уже давно не читает газет, а касающиеся его вещи ему сообщают из Берлина. Но сегодня утром он вновь просматривал журналы *Weisse Blätter*, *Zeit-Echo*, *Neue Merkur*⁶⁴ и т. п., и при этом ему бросилось в глаза, что хотя их авторы сегодня пишут уже не так, как 1 августа 1914 года, но дистанция между событиями и ими осталась такой же, как было в первый день войны, или, иначе говоря, разница между этими «радикалами» и газетами вроде *anzeiger*, *Berliner Tageblatt* и «Тёткой Фосс»⁶⁵ осталась без всяких изменений. Затем воскресным вечером мы выехали под проливным дождём, который не утихал несколько дней, и за всё это время я гулял лишь полчаса, а остальное время проводил в доме Поллаков. По пути Беньямин рассказал мне, что очень обрадовался длинному письму, которое я ему написал о его вышедшей в *Das Ziel* статье. Мы говорили о необходимости изучения Канта, к которому он был весьма расположен, и, без всякой связи, об издававшемся с недавних пор приверженцами Рудольфа Штейнера журнале *Das Reich*⁶⁶, первый номер которого Беньямин дал мне почитать во время июньского визита. Некоторые из чрезвычайно эзотерических статей произвели на него впечатление, и он рассказал, что в этом году познакомился с Максом Пульвером, который разделял его интерес к Баадеру и к графологии. Затем мы брели полчаса

под дождём до самого дома, где я занимал великолепную и прекрасно обставленную комнату на втором этаже, тогда как Бен-ьямин и хозяйка дома, ожидавшая нас в музыкальной гостиной, спали в куда менее шикарных комнатах на третьем этаже. Дора была несомненно красивой, элегантной женщиной с тёмно-русыми волосами, немного выше Бен-ьямина. С первого же момента она вызвала у меня дружескую симпатию. Она участвовала в разговорах с большим воодушевлением и даром проникновения. Словом, Дора произвела на меня неизгладимое впечатление. Я тотчас же понял ситуацию; оба не скрывали взаимную симпатию и считали меня своего рода соучастником заговора, хотя и не проронили ни слова об обстоятельствах их жизни. Однако кольцо помолвки Бен-ьямина исчезло с его руки. Дора рассказывала о сионистской среде её родительского дома и о том, что её братья и сестры – сионисты, она одна остаётся в стороне. В тот же вечер мы до часу ночи проговорили о сионизме, причём Бен-ьямин зачитал мне вслух вышеупомянутое письмо к Буберу, на которое Бубер, кстати, не ответил, но мне при встрече в конце 1916 года высказал о нём злое замечание. Впрочем, позднее, если удавалось, Бубер заступался за Бен-ьямина, например, в деле о поездке в Иерусалим, однако эти двое вообще не были расположены друг к другу. Бен-ьямин рассказывал, что после написания этого письма, в котором подробно рассуждал о функции языка и умолкания, он нашёл в «Философии истории» Фридриха Шлегеля⁶⁷ место, где –

хотя и в других терминах – говорилось о том же, что он хотел выразить в своём письме.



Дора Поллак и Вальтер Беньямин. 1916 г. Национальная библиотека Израиля, Иерусалим



Гёльдерлин Ф. Полное собрание сочинений под редакцией С.Т. Шваба (Штутгарт; Тюбинген: Котта, 1846, 2 тома)

На следующее утро Бенъямин показал мне хорошую библиотеку, где были сочинения Гёльдерлина в издании Шваба (1846)⁶⁸, переводы Боте из Пиндара (1808)⁶⁹, фоссовские переводы из Горация и много другого, в том числе и по философии. На полу лежала книга Эрнста Маха «Познание и заблуждение»⁷⁰. Дора хотела её продать, так как «ведь это же пустяки». Когда я стал уговаривать её продать книгу мне, она сказала, что если муж не будет против (совершенно на-

думанное замечание), то она мне её подарит в знак гостеприимства – что она впоследствии и сделала. Бенъямин жалел меня за мой дурной вкус. Он тогда презирал враждебный метафизике прагматизм, тогда как мне книга Вильяма Джеймса под названием «Прагматизм»⁷¹, которую я прочёл в немецком переводе, показалась значительной. Бенъямин прочёл вслух оду из Пиндара в переводе Гёльдерлина и в греческом оригинале. Затем я сам прочёл свою статью «Еврейское молодёжное движение», которую написал в Оберстдорфе для буберовского журнала – остро полемичную против нехватки радикализма у еврейской молодёжи⁷². «Я считаю, что она очень хороша», – сказал Бенъямин после продолжительной паузы. Затем Бенъямин с Дорой резко упрекали меня за слишком скромные притязания по гонорару. Дескать, мне не следовало вести себя так ребячески. «Обладание истиной даёт право притязать на достойный уровень жизни», – говорил Бенъямин. А я даже не знал, платит ли вообще гонорары «Еврей», мне это было безразлично. Бенъямин рукоплескал статье Гиллеля Цейтлина, который действительно находился в центре еврейства, во втором номере этого журнала. В остальном же он упрекал журнал за то, что там не обсуждается содержание иудаизма – Тора, Талмуд и книги пророков, – а всё это просто подразумевается. Кроме того, всё, что там выходит, дескать, предполагает сионизм, хочет его развивать и улучшать, поэтому ему так понравилась моя статья, направленная против господствовавших тенденций и

требующая, чтобы упор был сделан на содержание.

Все эти дни мы много говорили о еврействе и впервые коснулись вопроса, следует ли ехать в Палестину. Бенъямин критиковал «почвенный сионизм», который защищал я. Он говорил, что сионизм следует отучать от трёх вещей: «от почвеннической установки, расовой идеологии и буберовской аргументации через кровь и пережитое». Я согласился с ним в том, что переселяться в Палестину следует не обязательно в качестве сельскохозяйственных рабочих или крестьян, но можно иметь и другую профессию. Я тогда – и ещё лет семь – подумывал о том, чтобы переехать в Палестину школьным учителем. В ответ на бенъяминовскую критику Бубера я хвалил сочинения Ахада Ха'ама – о котором Вальтер ещё ничего не слышал, – а некоторые его статьи о природе еврейства, вышедшие в немецкой подборке, я дал ему почитать в конце 1916 года. Но больше всего мы говорили о Бубере, которого он резко критиковал. Прощаясь, Бенъямин наказывал мне, если встречу Бубера, передать ему бочку наших слёз. Он говорил, что в личном общении Бубер произвёл на него впечатление человека, живущего в постоянной отрешённости, где-то очень далеко от самого себя, собственным двойником. Это отразилось в статье Бенъямина «Одновременное», вышедшей в журнале Zeit-Echo. Особенно резок он был в отрицании культа «пережитого», превозносимого в буберовских произведениях того времени (прежде всего, с 1910-го по 1917-й годы). Как только речь заходила

о Бубере, он насмешливо говорил, что каждого еврея следует, прежде всего, спрашивать: «А у Вас уже было еврейское пережитое?». Бенъямин хотел побудить меня дать в статье решительный отпор буберовскому «пережитому». В одной более поздней статье я действительно сделал это, получив от Бенъямина мощный импульс. И взаимно – то, что я рассказывал ему об Ахаде Ха'аме, весьма просветило его – особенно в его понимании роли справедливости в иудаизме. Он определял справедливость как «волю сделать мир высшим благом». Мы спорили о Бубере с разных сторон, и Бенъямин говорил, что у Бубера женское мышление, а это у него – в отличие от Густава Ландауэра, который в одной статье утверждал о Бубере то же самое, но с похвалой, – означало неприятие. Мы обсуждали также, является ли Сион метафорой, в чём я тогда был уверен – ибо лишь Бог не был метафорой, – а Бенъямин отрицал. Он утверждал (к чему мы пришли в разговоре о библейских пророках), что пророков нельзя использовать метафорически, если мы признаём авторитет Библии. Под конец мы вместе читали речь Сократа в «Пире» Платона, и Бенъямин говорил о странном удвоении ряда греческих богов и о той особенности, что есть так много греческих богов, которые непосредственно трансформируются в некую идею, Ананке⁷³ и т. д. У Бенъямина тогда было написано несколько страниц о Сократе, и он прочёл их вслух. Я потом переписал это для себя. Он выдвигал там тезис, что Сократ – «аргумент и стена Платона против мифа».

На следующий день мы добрались до Гегеля – это был наш первый разговор о Гегеле, который я помню. Очевидно, Бенъямин лишь бегло прочёл несколько сочинений Гегеля и в то время не был его почитателем. Ещё год спустя он писал мне: «Всё, что я до сих пор читал из Гегеля, отталкивало меня». «Духовная физиономия» Гегеля, дескать, есть «физиономия интеллектуального насильника, мистика насилия – худший сорт мистика, но всё же он – мистик» [В. I. S. 171]. Тем не менее, Бенъямин защищал его, когда я в разговоре сделал несколько дерзких замечаний о спекулятивной натурфилософии, которая оскорбляла мою математическую душу настолько же, насколько впечатляла мою душу мистическую. Бенъямина это не волновало, и он находил мужество Гегеля и Шеллинга достойным удивления как раз из-за риска *deductio ad absurdum*⁷⁴, на который они шли (так, впоследствии он превозносил в разговоре со мной относящиеся к этой же сфере «Фрагменты из наследия молодого физика» И.В. Риттера⁷⁵). Он схватил «Феноменологию духа», стоявшую в библиотеке Поллака, и прочёл из неё наугад несколько предложений, среди которых: «Нервная система есть непосредственный покой органического в его движении». Я засмеялся. Бенъямин строго уставился на меня и сказал, что не может считать это предложение таким уж бессмысленным. Без всякой подготовки, *ex tempore*⁷⁶ и без знания взаимосвязей, в каких находились понятия у Гегеля,

он привёл пространную и энергичную интерпретацию в защиту прочтённого тезиса. Я забыл суть этой интерпретации, но жест Бенямина как защитника Гегеля произвёл на меня сильное впечатление. Припоминаю приводимое Гегелем определение поступка и высказывание Лихтенберга, согласно которому абсурдно отличать человека от его действий.

В одной дискуссии мы гадали, хотел ли Гегель свести мир к математике, философии или мифу. Бенямин признавал миф в качестве «мира». Он сказал, что и сам ещё не знает, какова цель философии, так как «смысл мира» даже не нужно обнаруживать, поскольку он уже задан в мифе. Миф – это всё; всё остальное, даже математика и философия, есть только помрачение, видимость, которая возникла в самом мифе. Я возразил, что кроме мифа есть ещё математика – до тех пор, пока не будет найдено великое дифференциальное уравнение, в котором выражается мир, или – что правдоподобнее – пока не будет доказано, что такого уравнения не может быть. И тогда миф будет оправдан. Философия не есть нечто самостоятельное, и только религия пробивает брешь в этом мире мифа. Я оспаривал тот тезис, что математика может быть частью мифа. Здесь впервые проявился решительный поворот Бенямина к философскому проникновению мифа, которое занимало его много лет, начиная с работы над Гёльдерлином и, пожалуй, до конца жизни. Этот поворот окрасил ещё многие наши беседы. В этой связи Бенямин уже тогда говорил о различии между правом и справед-

ливостью, причём право есть порядок, обоснованный лишь в мире мифа. Четыре года спустя он развил эту мысль в статье «К критике насилия»⁷⁷. Должно быть, в это время Беньямин соприкоснулся с работами Бахофена⁷⁸, а также прочёл труды этнолога Карла Теодора Пройсса об анимизме и преанимизме. Он часто использовал рассуждения последнего о преанимизме. Это вывело нас к разговору о призраках и их роли в преанимистическую эпоху. При этом Беньямин много рассказывал о некоторых из его собственных снов, где призраки играли значительную роль; таков, например, мотив большого пустого дома, в котором у окна парят, танцуя, призраки.

Позднее я вплотную занялся критическим разбором этих разговоров, потому что – как я записал тогда «если я действительно хочу идти вместе с Беньямином, то должен провести колоссальную ревизию взглядов. Мой сионизм сидит во мне столь глубоко, что его невозможно поколебать». Ещё я добавил: «Выражение “некоторым образом” есть печать несформированного мнения. Никто не употреблял его так часто, как Беньямин».

Всё это, конечно, находилось в тесной связи с его интересом к философии истории. Как-то мы проговорили об этом целый вечер после его трудного замечания о том, что ряд лет поддаётся подсчёту, но не нумерации. Это вывело нас на значения последовательности, числа, ряда и направления. Имеет ли время, которое, конечно, последовательно, ещё и направление? Я сказал: «Откуда нам знать, что время не ве-

дёт себя, как кривые, которые хотя и имеют в каждой точке непрерывный ход, но нет ни одной точки, где могла бы быть касательная, т. е. определимое направление?». Мы спорили о том, можно ли годы, подобно числам, менять местами так, как они поддаются нумерации? У меня до сих пор сохранилась запись об этой части разговора. В дневнике я записал: «Ум Беньямина кружит и будет ещё долго кружить вокруг феномена мифа, к которому он подходит с самых разных сторон. Со стороны истории, где он исходит из романтизма, со стороны поэзии, где он исходит из Гёльдерлина, со стороны религии, где он исходит из иудаизма, и со стороны права. Если у меня когда-нибудь будет своя философия – сказал он мне – то она “некоторым образом” будет философией иудаизма».

Дора подарила ему тогда превосходное издание *Contes drôlatiques* Бальзака⁷⁹ с великолепными и фантастическими иллюстрациями Гюстава Доре, от которых я как-то целый вечер не мог оторваться. В его комнате лежало и очень красивое французское издание *Bouvard et Pécuchet* <Бувар и Пекюше> Флобера. Беньямин хвалил *Catalogue des opinions chic* <Перечень изысканных мыслей> и утверждал, что Флобер совершенно неперево́дим.

Во время моего визита мы иногда играли в шахматы. Беньямин играл чудовищно медленно и делал неочевидные ходы. Поскольку я играл гораздо быстрее, очередь хода всегда

была за ним. Я проиграл партию, которую он играл вместе с Дорой против меня.

Вероятно, уместно упомянуть, что Бенъямин уже тогда любил детективы, прежде всего – вышедшие в штутгартской серии переводы классических американских и французских романов – например, Мориса А.К. Грина, Эмиля Габорио («Господин Лекок»), а в свой мюнхенский период – ещё и книги Мориса Леблана об Арсене Люпене, джентльмене-взломщике. Позднее он много читал шведа Хеллера, а в тридцатые годы сюда добавились книги Жоржа Сименона, которые он мне иногда советовал в своих письмах, уточняя, что читать его надо по-французски, чтобы вполне оценить их, – чего он никогда не говорил о Прусте, то ли потому, что свой, сделанный вместе с Хесселем⁸⁰ его перевод он считал адекватным, то ли считал мой французский недостаточным для такого чтения. В тщательно составленном списке прочитанных книг, о котором он мне рассказывал уже тогда и который (от 1915 года) сохранился в его наследии, от детективов рябит в глазах.

Не сомневаюсь, что прорыв в наших отношениях и переход от знакомства к дружбе летом 1916 года во многом зависел от Доры, которой Бенъямин рассказывал обо мне. В самом начале я пригласил его приехать ко мне в Оберстдорф⁸¹. Позднее Дора доверительно рассказала мне, что ответное приглашение в Зеесхаупт, которое свело нас вместе вопреки его всегдашним обыкновениям, последовало по её

инициативе. Её интерес ко мне был вызван его рассказами о моей страсти ко всему еврейскому.

Примерно до 20 декабря 1916 года Бенъямин оставался в Мюнхене, где он ещё в летний семестр начал изучать у американиста Уолтера Лемана мексиканскую культуру и религию майя и ацтеков, что было тесно связано с его мифологическими интересами. Во время этого лекционного курса, посещаемого лишь немногими, причём вряд ли студентами, Бенъямина привлекли фигура и труды испанского священника Бернардо Саагуна, которому мы столь многим обязаны в сохранении традиций майя и ацтеков. Там Бенъямин поверхностно познакомился с Рильке – между серединой ноября и декабрём. Он с удивлением рассказывал о вежливости Рильке – он, чья китайская вежливость уже доходила до пределов того, что я мог вообразить! Затем в Берлине я увидел у него на письменном столе ацтекско-испанский словарь Молиноса, который он раздобыл, чтобы выучить ацтекский – чего, впрочем, так и не случилось. Рассказы Бенъямина о лекциях Лемана погнали туда и меня, когда я приехал в Мюнхен в 1919 году. У Лемана я читал гимны богам майя, некоторые из них я и теперь могу рассказать наизусть на языке оригинала.

Бенъямин мог бы встретиться в Мюнхене с Францем Кафкой, который 10 ноября 1916 года публично читал там свой

рассказ «В исправительной колонии». К сожалению, он упустил эту возможность, а я иногда задумываюсь над тем, что могла бы значить встреча между этими людьми⁸².

В разговорах в Зеесхаупте Бенъямин упомянул, что видит своё будущее в доцентуре по философии. Под впечатлением наших бесед я записал тогда в дневник: «Если Бенъямин когда-нибудь будет читать реальный курс по истории философии, его никто не поймёт, но его семинар мог бы стать грандиозным, если его по-настоящему спрашивать, а не навешивать ярлыки», что было камешком в огород Кассирера. Я написал в то время Бенъямину длинное письмо об отношениях математики и языка и предпослал этому письму целый ряд вопросов. Из его длинного ответа, прерванного на середине, возникла работа «О языке вообще и о языке человека»⁸³, которую на словах он называл первой частью, за которой должны были последовать ещё две; копию этой работы он мне дал, когда в декабре 1916 года вернулся в Берлин. Его опять вызвали на военно-медицинское переосвидетельствование, и он приехал на неделю раньше. Вечером 23 декабря я долго пробыл вместе с ним, и он рассказывал мне об Эрихе Гуткинде (1877–1965), авторе мистической книги «Звёздное рождение» (1912)⁸⁴, с которым он познакомился за несколько месяцев до этого. Гуткинд, мечтательный, но высокообразованный выходец из полностью ассимилированной семьи, начал тогда вдохновляться иудаизмом, и Бенъя-

мин, рассказавший ему обо мне, настаивал на моей встрече с Гуткиндо. «Вы – то, чего недостаёт этому человеку», – сказал он мне. Я пожелал, чтобы и Бенъямин там тоже присутствовал, и в один из ближайших дней мы втроём опять говорили на еврейские темы, сидя в кафе. Бенъямин долго испытывал большую симпатию к Гуткинду и в начале двадцатых годов тесно общался с ним и его женой. Я тоже часто посещал Гуткиндов в их доме в Новавесе, предместье Берлина, и в 1917 году некоторое время давал им уроки гебраистики. (Впоследствии Гуткинд стал чуть ли не ортодоксом.)

Весь вечер и бо́льшую часть ночи перед переосвидетельствованием Бенъямина я вновь провёл с ним. Мы ужинали в кругу его семьи, а потом я спал в гостиной в шезлонге. Там стояла большая рождественская ёлка, что было обычным для многих либеральных еврейских семей. Я знал это из моего детства и посетовал Бенъямину на то, что ощущал как откровенную безвкусицу среды, откуда мы происходили. Я услышал от него такое же объяснение, каким отделивался от моих нападок и мой отец⁸⁵. Бенъямин рассказывал, что уже его дед с бабкой отмечали Рождество как «немецкий народный праздник». Он рассказал мне тогда о своих мюнхенских занятиях, где написал два длинных реферата у доцентов по философии, один – у феноменолога Морица Гейгера, у которого и я затем, в 1919–1920 годах, прослушал курс философии математики. После освидетельствования Вальтер наде-

ялся вернуться в Мюнхен. Однако 28 декабря его признали «годным к нестроевой службе», что хотя и не означало участия в войне с оружием в руках, но сильно взволновало его. Я услышал это от него по телефону на следующий день, но не смог к нему тотчас же приехать, так как отправился к своему брату Вернеру в Галле, где тот служил солдатом. По возвращении я узнал, что из Зеесхаупта приехала Дора, и уже к 8 января 1917 года он получил мобилизационное предписание. Он якобы заболел, ишиасом, и не выполнил этого приказа. Мы с Гуткиндами написали Беньямину, предлагая составить ему компанию. Затем Дора сказала мне по телефону, что он получил ещё одно мобилизационное предписание на 16 января. 12 января он послал мне на сложенном втрое листке в самом маленьком конверте, как будто речь шла о записке, конспиративно проносимой заключённому: «Я благодарю Вас, как и Гуткиных, за Ваше дружеское предложение. Я ещё лежу с тяжёлым приступом ишиаса, однако на вторник уже опять получил повестку. Увы, мои нервные судороги так сильны и привели меня в такое состояние, что я, к большому сожалению, не могу принимать гостей. Поэтому вынужден Вашу дружескую готовность с сердечной благодарностью отклонить. Вам всегда будут сообщать о моём состоянии. P. S. За конверт прошу извинения!». Дора, с которой я встретился, поведала мне по секрету, что сама вызвала у него гипнозом, к которому он был восприимчив, симптомы ишиаса, позволившие врачу выписать ему аттестат для

военных властей. Затем он подвергся осмотру врачебной комиссии на Дельбрюкштрассе, и его освободили от службы на несколько месяцев. Фиктивный ишиас по-прежнему поддерживался. Весь январь Вальтер оставался для всех, кроме Доры, *incommunicado*⁸⁶, и я начал вновь видаться с ним лишь с февраля. До 17 апреля он оставался в Берлине, и я много раз его навещал.

За это время он прочёл «19 писем об иудаизме» Самсона Рафаэля Хирша⁸⁷, основную книгу по ортодоксальной иудейской теологии на немецком языке, «Рим и Иерусалим» Мозеса Гесса, один из классических текстов сионизма⁸⁸, а также несколько эссе Ахада Ха'ама. В то время я не был большим почитателем сочинений Герцля и поэтому дал Бен-ьямину только что упомянутые книги, которые произвели на меня более глубокое впечатление, чем Герцль. У нас состоялась дискуссия о проблеме идентичности, о чём в 1916 году он составил письменные тезисы². Эти и другие разговоры так и не дали нам сыграть – по его предложению – в китайскую настольную игру го, которой он, как видно, увлёкся с Дорой, поскольку в шахматах она была слабым партнёром и злилась, когда проигрывала. Вальтер утверждал, что го – самая старая из всех известных игр. Тогда же он объяснил мне и разделение своей библиотеки на «первую» и «втор-

² Моё указание в «Письмах» (Том I. Стр. 139. Прим. 3) было неточным и должно быть исправлено.

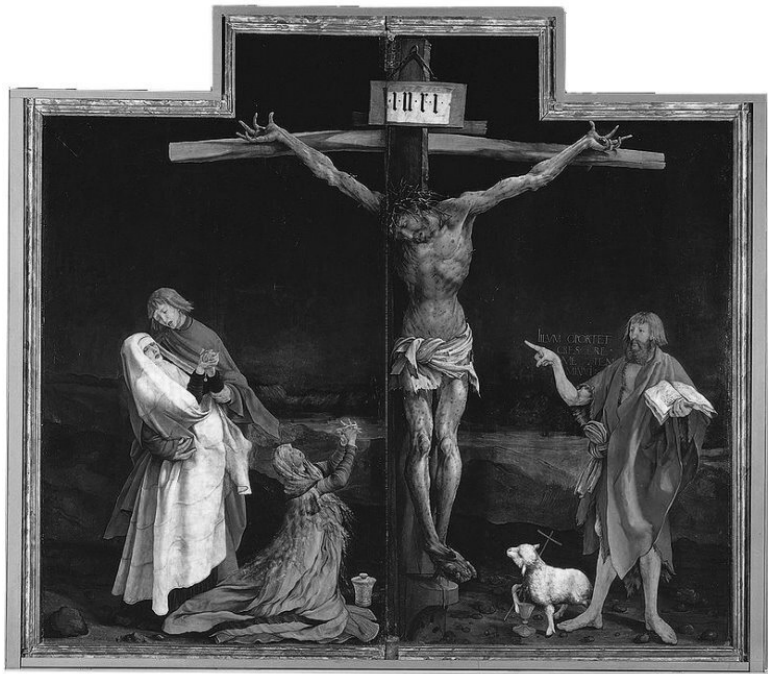
рую». Первая содержала только произведения первостепенного значения. Помню, там стояла не одна книга Шиллера, но и том «Разговоров Шиллера»⁸⁹, который Бенъямин объявил «необыкновенным», а также «единственным способом найти доступ к Шиллеру». Только там-де можно узнать, что Шиллер на самом деле был человеком высочайшего уровня. Доступ к Шиллеру для многих людей нашего поколения был и впрямь непроходимым. Ещё в Берне Бенъямин любил зачитывать Доре и мне насмешливые и уничижительные высказывания романтиков о Шиллере, которые он выковыривал, как изюминки, из их сочинений при подготовке своей диссертации. Так я узнал о письме Каролины Шлегель, прочитанном Бенъямином с воодушевлением и наслаждением, там говорилось о чтении Шиллерова «Колокола» в кругу йенских романтиков, когда все присутствовавшие смеялись до слёз.

Было очевидно интимное отношение Бенъямина к вещам, которыми он обладал, к книгам, произведениям искусства или ремесленным поделкам, часто крестьянским по природе. Всё время, что я был с ним знаком, даже при моём последнем посещении его в Париже, он любил показывать такие предметы, давать их в руки гостю и пускаться в рассуждения о них, импровизируя, как пианист. Уже в те месяцы я заметил у него на письменном столе баварский синий изразец с трёхглавым Христом. Он говорил, что очарован загадочным способом его изготовления. Со временем сюда до-

бавились разные фигурки и картинки, по большей части – репродукции. Уже тогда и ещё долго в его рабочем кабинете висела репродукция алтарных картин Грюневальда из Кольмара, ради которой он, будучи студентом, в 1913 году специально ездил в Кольмар⁹⁰. Отношение к этим картинкам, у которых им овладевало «невыразимое», как он это называл, часто проявлялось в его статьях тех лет. В двадцатые годы он мог написать философские размышления о детской игрушке для своего сына. Так, Бенъямин привёз из Москвы⁹¹ серебряный кинжал, в рассуждения о котором он пускался лишь полуиронически, с оглядкой на террор. В Париже у него на стене висел приобретённый в Копенгагене большой лист образцов татуировок, которым он гордился и который был для него на уровне детских рисунков и первобытного искусства.

В эти три месяца я виделся с Бенъямином не так много, как могло бы быть при нормальных обстоятельствах, так как с начала февраля у меня возникли свои семейные сложности, из-за которых я с 1 марта 1917 года на полгода покинул родительский дом⁹² и, поселившись с помощью русско-еврейского приятеля в пансионе на Уландштрассе, где жили почти исключительно русские евреи, стремился заработать себе на жизнь преподаванием гебраистики и переводом одной большой книги с идиша и древнееврейского. Между тем Бенъямин и Дора сообщили мне, что у них будет свадьба,

и пригласили меня – по-моему, единственного неродственного
ника – на состоявшийся после бракосочетания 16 апреля на
Дельбрюкштрассе семейный праздник, где я познакомился и
с родителями Доры. Уже тогда я был большим почитателем и
собирателем произведений Пауля Шеербарта и подарил но-
вобрачным на свадьбу мою любимую книгу, его утопический
роман «Лезабендио», действие которого разыгрывается на
астероиде Паллада и – вместе с рисунками Альфреда Кубина
– изображает мир, в котором совершенно сдвинуты «суще-
ственные» человеческие свойства. Так началось увлечение
Беньямина Шеербартом, о книге которого три года спустя
он написал большую, но, к сожалению, утраченную статью
«Истинный политик»⁹³.



Грюневальд Маттиас. Изенгеймский алтарь (1512-1516).
Центральная часть. Музей Унтерлинден, Кольмар, Франция

В месяцы перед его свадьбой я некоторое время пытался перевести на древнееврейский части из очень дорогой мне работы о языке, в которую вошли и мотивы из наших бесед в Зеесхаупте. Бенъямин хотел, чтобы я непременно прочёл ему и Доре мои первые страницы, чтобы услышать, как звучат его фразы на «праязыке», как он говорил полушу-

тя. Тогда же возник и его интерес к Францу фон Баадеру, к которому он пришёл в Мюнхене благодаря Максу Пульверу, – и к Францу Йозефу Молитору, ученику Шеллинга и Баадера, который, будучи единственным принимаемым всерьёз немецкоязычным философским автором, посвятил изучению каббалы 45 лет и между 1827-м и 1857-м годами анонимно опубликовал четыре тома в качестве введения к запланированному им изложению каббалы, под примечательным заглавием: «Философия истории, или О традиции»⁹⁴. Хотя эта работа о каббале совершенно безосновательно пыталась придать себе христологический оборот – автор принадлежал к либеральному крылу немецких католиков – книга всё же заслуживает внимания. Я начал читать её в 1915 году и много раз говорил о ней в наших беседах, а также рассказал Бенъямину, что три тома произведения всё ещё остаются у издателя. Это были наши первые разговоры о каббале, от изучения источников которой я тогда был ещё очень далёк, но смутно ощущал влечение к этому миру. Незадолго до свадьбы Бенъямин заказал сочинения Баадера и книгу Молитора, которые, однако, прибыли к нему лишь после свадьбы. Тем временем он и Дора покинули Берлин и отправились в специализировавшийся на ишиасе санаторий в Дахау, где Бенъямин с помощью Доры наконец-то успешно получил документ, сделавший возможным его отъезд в Швейцарию.

В середине июня 1917 года я был призван в пехоту, в Ал-

ленштейн⁹⁵, и с большой энергией предпринимал попытки освободиться от военной службы и не участвовать в войне, к которой я относился с безоговорочным отрицанием. Мы обменялись в мае и июне ещё несколькими письмами, частью до, частью после моего призыва. Я послал ему новый перевод Песни Песней, который тогда сделал. Ещё я извещал его о своих обстоятельствах на военной службе. Два письма Бенямина из этой переписки содержатся в его избранных письмах, и здесь я добавляю ещё несколько. Одно написано незадолго до его отъезда в Швейцарию, второе – через несколько дней после его приезда в Цюрих.

30 июня он написал мне из Дахау, конечно, не доверяя бумаге всей правды:

«Дорогой господин Шолем, Вы ожидаете найти в этом письме моё мнение о Вашем новом переводе; но в данный момент, к сожалению, я не могу Вам его сообщить, так как в комнате царит беспорядок, связанный с подготовкой к отъезду. Надо, наконец, предпринять что-то решительное против паралича, а также против болей, которые в последнее время совершенно измотали меня. Врач настаивал на месячном лечении на курорте в Швейцарии, и, вопреки трудностям, с какими это сопряжено, вчера мы получили паспорта. Если необходимость подтверждена документами, то люди относятся – пожалуй, особенно к больным – предупредительно и дружелюбно; а строгость пограничной охраны, о

которой я получил представление только по этому случаю, совершенно необходима.

Здесь ходят усиленные слухи о подписании мира в сентябре. Я хотел бы попросить Вас об одолжении. Господин Вернер Крафт, санитар запасного лазарета Ильтен под Ганновером (это – полный адрес), живо интересуется моей работой о языке⁹⁶. Мой собственный экземпляр – одна из рукописей, вывоз которых за границу, вероятно, будет разрешён – т. е. я представил для разрешения на вывоз лишь часть рукописей, поскольку взять можно совсем немного, а представленные, я надеюсь, разрешат вывезти. Не могли бы Вы на время послать господину Крафту Вашу копию моей работы?

О Песне Песней – в следующем письме. Надеюсь написать рецензию, если не возникнут трудности с корреспонденцией из Швейцарии. Моей первой остановкой там должен стать Цюрих, так как для меня невозможно совершить путешествие “единым махом”. Адрес: отель “Савой”, куда я прошу писать по получении этого письма впредь до дальнейших распоряжений. Тетрадь с тезисами об идентичности посылаю с этой же почтой и прошу Вас бережно хранить её также до дальнейших распоряжений. Привет Вам от моей жены. Надеемся на Вас и думаем о Вас. Гуткиндам я не смогу написать до отъезда и поэтому прошу Вас передать им от нас сердечный привет.

Ваш Вальтер Беньямин».

[В качестве приписки последовало:]

«Сегодня рано утром я получил Ваше письмо из Алленштейна. Мне искренне жаль, что так плохи дела у учителя языка господина Гуткинда⁹⁷. В его положении мало что можно для него сделать, разве что надеяться, что серьёзное и печальное будет забыто, и думать о нём. В этом будьте уверены. В ближайшие дни Вы получите почтовый перевод на 30 марок, и я прошу Вас, если у Вас есть его адрес, переслать деньги ему. Если его страдания потребуют дополнительных расходов, попросите его обратиться к нам.

Как Ваши дела? Тетрадь с тезисами об идентичности я высылаю Вам в Алленштейн, а если Вы не сможете её там держать, то прошу Вас отправить её господину Вернеру Крафту (заказным письмом).

Сможете ли Вы при таких обстоятельствах послать ему работу о языке – для меня сомнительно. По возможности сделайте это. / Сегодня я ничего не могу сообщить Вам о своих исследованиях, но вскоре надеюсь сделать это.

Мы с женой ещё раз передаём Вам сердечный привет».

Я также получил из Мюнхена – вместе с сопроводительной запиской Вернера Крафта, удивлённого непонятным текстом письма, адресованного ему, но явно предназначенного для меня, – инструкцию к тайному коду для секретных сообщений в Швейцарию. Дора писала:

«Дорогой господин Крафт,

я только что прочла столь рекомендованную Вами “Историю Тридцатилетней войны”. Я нахожу её *очень* хорошей и в ближайшее время напишу Вам о ней ещё. Также я знакома с детективом Рикарды Гух⁹⁸, однако нахожу “старомодные” романы Грина лучше, а Вы их порицаете, так как они содержат “неуклюжую” шифровку. Тем более Вы ошибаетесь, полагая, что такая шифровка относится к новым изобретениям, а ведь она встречается уже в “Графе Монте-Кристо”, а в Средние века была целая система; напр., по одному шифровальному коду ставили цифры вместо слов, или буквы вместо слов, или цифры вместо букв. Я даже читала недавно про системы, устроенные так умело, что они совсем не выглядят шифровкой, а кажутся третьим лицам безобидными; напр., каждое третье слово имеет смысл, два остальных – пустая “набивка”, но поставлены они так ловко, что всё вместе тоже вроде бы имеет смысл. Однако мы с мужем считаем самой гениальной шифровку, которая основана на смене кодового числа. Напр., сначала 42345 означает, что закодированное слово сперва идёт четвёртым, затем вторым, затем третьим, затем четвёртым, затем пятым, затем снова четвёртым; потом берём другое число, напр., 4684, и т. д. Новое кодовое число, конечно, всегда вводится незаметно. Вы представить себе не можете, как изобретательны были в этом люди. Мадам де Сталь, напр., писала таким способом своему провансальскому

другу.

Мой муж сердечно приветствует Вас, вскоре он напишет подробнее. Он просит Вас сохранять письма, особенно письма особой важности; в таких письмах он Вас особо об этом попросит. (Может, он издаст их потом в другой форме.)³

Год издания работы Шиффера он ещё впишет завтра. – Горячий привет.

Дора, Вальтер».

Это письмо положило начало моей дружбе с Вернером Крафтом, которому я ещё из лазарета писал письма о смысле работы Беньямина о языке.

Через неделю Беньямин и Дора отправились в Швейцарию, где они встретились в Цюрихе с Гербертом Блюменталем и Карлой Зелигзон, причём 9-го и 10 июля дело дошло до окончательного разрыва. Причина заключалась как в напряжённых отношениях между Дорой и Карлой, так и – и прежде всего – в притязаниях Беньямина на безусловное духовное лидерство по отношению к Блюменталю, которое последний должен был безоговорочно принимать. Блюменталь же отверг притязания Беньямина, и многолетней юношеской дружбе был положен конец. Проявившуюся здесь деспотическую черту Беньямина, которая, по рассказам многих его знакомых по «Молодёжному движению», нередко прорыва-

³ Написанное было действительно адресовано Крафту, которому Беньямин тогда посылал длинные, к сожалению, несохранившиеся письма о литературе.

лась наружу и резко контрастировала с его обычным учтивым поведением, я сам испытал всего два-три раза, да и то в очень смягчённой форме. Должно быть, тут сыграло свою роль и желание Бенямина по возможности сократить отношения с друзьями по «Молодёжному движению», которое для него умерло. Свойственный его характеру радикализм, который, казалось, так противоречил его вежливости и терпимости в общении, в таких случаях не останавливался даже перед необдуманными и тяжёлыми разрывами. Вскоре после своего дня рождения и упомянутых событий Вальтер написал мне в Алленштейн:

«Дорогой господин Шолем

мы Вам очень благодарны за то, что до сих пор Вы постоянно давали нам знать о своём самочувствии, и просим Вас продолжать в том же духе. Надеемся, что в дальнейшем Вам удастся повернуть всё к лучшему. Ваши поздравления к моему дню рождения⁴ я принимаю с сердечной благодарностью. От своей жены я получил немало превосходных книг, коими гордится моя библиотека: к примеру, старое издание Грифиуса; Катулл, Тибулл и Проперций, изданные в лондонском Richardi Press, которые моя жена смогла достать ещё в Германии; и очень хорошие французские книги: Бальзак, Флобер, Верлен, Жид. Есть тут и ещё много чего, чем можно украсить стол для празднования дня рождения.

⁴ Имеется в виду его двадцатипятилетие.

Относительно философского блокнота, который Вы держите в руках, Вы должны иметь в виду, что все прочие записи тезисов об идентичности сделаны как минимум год назад, большинство же – от 3 до 4 лет назад. Там есть и ребяческие вещи, например, К на полях означает “искусство” <Kunst>, R – “религия”. Ещё для меня важна – даже если она требует другой формы и другого выражения – запись, в которой я тогда прояснял для себя понятие первородного греха. О Schechinnah [sic!] ⁹⁹ я не могу Вам в настоящее время написать ничего; Баадер вместе с подавляющей частью моей библиотеки всё ещё находится в Германии, лишь “первая библиотека” уже почти полностью у меня и благодаря новым подаркам будет выглядеть ещё прекраснее... Что Вы слышали о преподавателе языка господина Шлехтмана ¹⁰⁰? Вы иногда с ним видите? Тогда скажите ему, что год издания книги Шиффера, о которой он меня спрашивал в связи с моим письмом о Рикарде Гух, – 1526. Может, он тоже когда-нибудь мне напишет. / Что же касается Ваших семейных отношений, то издалека, пожалуй, советовать невозможно...

Очень скоро мы поедem отсюда в Энгадин. Пока Вы не получите наш новый адрес, пишите сюда, да скорее и чаще. Мы часто думаем о Вас и остаёмся с Вами с нашими сердечнейшими пожеланиями».

31 июля Бенъямин написал мне из Сент-Морица, когда я, находясь в «психиатрическом отделении» лазарета, куда был

направлен для наблюдения моего «умственного состояния», успешно пытался доказать свою негодность к военной службе. Я попросил его, осторожно и окольным образом описывая моё положение, обратиться к известному мне и благожелательному швейцарскому врачу, д-ру Шарлю Мейеру, чтобы при случае добиться от него экспертизы. Я назвал его фамилию как фамилию врача, который когда-то лечил меня.

«Дорогой господин Шолем

мы давно ничего не слышали о Вас, а Вы – о нас. Мы прибыли сюда неделю назад и провели время на этой прекрасной природе при великолепной погоде. Теперь погода вроде бы становится хуже, а озеро у меня перед окном – чудесное альпийское озеро – окрасилось в ядовито-зелёный цвет, словно перед бурей. Мы гуляем, насколько позволяет моя болезнь, и отдыхаем. На день рождения я получил книгу Рабле в переводе Региса¹⁰¹; с этим переводом я бегло знакомлюсь, прежде чем перейду к французскому оригиналу. / Моя жена вчера написала господину Мейеру. ... Хотя я пока не могу здесь работать, кое-какие мысли приходят мне в голову, и Вы о них вскоре услышите. Между тем, мы надеемся, что дела Ваши идут хорошо. Пишите нам как можно скорее, мы с женой каждое утро шлём Вам привет.

P. S. А как себя чувствует Ваш отец?»

18 августа – я всё ещё был в лазарете в Алленштейне, читал блокнот Бенъямина и в связи с этим часто писал ему (среди прочего протестуя против его заметки о первородном гре-

хе) – Бенъямин с Дорой написали:

«Дорогой господин Шолем,

несколько внешних причин не дали мне возможности написать раньше, но если бы у меня было что сообщить Вам, они бы меня не удержали. Так, поводом для этого письма послужило Ваше письмо от 31 июля, а также две последовавшие за ним почтовые карточки, содержание которых – несмотря на печальные новости о Вашем здоровье – обрадовало нас с женой как никогда. Наша жизнь здесь полностью подчинена отдыху и восстановлению сил. К своим работам я приступлю не раньше осени; до осени надеюсь получить важнейшие книги, а в какой университет запишусь – пока неизвестно. Я тут кое-что читаю. Так, я начал заниматься драмами Кальдерона. Прочёл Мориса де Герена и Рембо. Кроме того, я весь погружён в эстетические размышления: пытаюсь проникнуть в самую глубину различия между живописью и графикой. Это приводит меня к важным выводам, и в этом контексте вновь всплывает проблема идентичности. Погода, к сожалению, часто меняется, и когда пасмурно – холодно. Однако мы провели несколько превосходных экскурсий; особенно радует нас то, что мы добрались до границы Швейцарии с Италией в южноальпийской долине Бергелль, дышали чудесным воздухом и видели совершенно чистое небо. Здесь наверху в Энгадине растут прекрасные цветы, а на возвышенностях они издают чудесный, нежный аромат.

К сожалению, я не могу входить в детали того, что

Вы критически написали о моей заметке о первородном грехе, так как я её уже почти не помню. Я написал её пять лет назад; ясно, что она отчасти не сможет устоять перед моими сегодняшними взглядами.

Мы, вероятно, останемся здесь ещё на некоторое время, затем я поеду сначала в Берн и Цюрих, а где мы проведём зиму – решится потом.

Так как моя жена ещё добавит приписку, я заканчиваю сердечными пожеланиями на будущее, в том числе процветания в домашних делах. Пишите мне скорее о Вашем самочувствии и Ваших мыслях.

Ваш Вальтер Беньямин».

[Ниже, почерком Доры, следовало:]

«Дорогой господин Шолем,
и от меня горячий привет и множество пожеланий здоровья. Вы, наверное, слышали новость и об учителе языка господина Гуткинда; мы неописуемо рады за него и вместе с ним. Поздравьте его, если будете ему писать. Письмо о логарифмах мы не получили. Год выхода книги Шиффера – 1526. Господин Мейер прислал нам интереснейший ответ, человек с весьма почтенным образом мыслей. Всегда Ваша Дора Беньямин».

Фраза о размышлениях Вальтера над различием живописи и графики, которое он хотел исследовать до последнего основания, очевидно, указывает на эмбрион рассуждений, пока ещё целиком основанных на метафизике, которые были затем, в 1935 году, изложены в его знаменитой работе «Про-

изведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»¹⁰² в зрелой и претерпевшей марксистские метаморфозы форме.

В последнюю неделю августа меня, несмотря на диагноз *dementia praecox*¹⁰³, отправили назад в Берлин как «временно негодного к службе», до демобилизации находящегося в отпуске, но с разрешением ходить в гражданской одежде. Я сообщил это Бенъямину, на что он ответил с большой радостью, предложив называть друг друга по имени и пригласив приехать к ним в Берн. Наш обоюдный опыт с военной службой сильно способствовал интенсивности дружбы, что отчётливо заметно в письмах Бенъямина ко мне между сентябрём 1917-го и апрелем 1918 года. Итак, время с лета 1916 года по май 1918 года стало периодом непрерывного дружественного сближения, которое без спадов достигло кульминации после моего приезда в Швейцарию. Опубликованные письма подробно дают знать, что нас занимало. Тогда начала развиваться склонность Бенъямина к мелкому почерку, которой способствовало принятое цензурой ограничение на длину писем. Он решился писать докторскую диссертацию у совершенно бесцветного, но этим и приятного для него Рихарда Хербертца в Берне после того, как проверил и отверг другие возможности, прежде всего – возможности защиты диссертации¹⁰⁴ у Карла Йозеля в Базеле. Я в это время изу-

чал математику и философию в Йене, интенсивно работал, о многом думал и не только сообщал об этом Бенъямину подробно, но и заваливал его вопросами. Мы пропагандировали друг другу понравившиеся книги. Бенъямин не только писал мне о таких книгах, но и слал мне списки книг, которые я мог подешевле достать через фирму моего отца, связанную с издательством. Я подтолкнул его, например, к прочтению книг Анатоля Франса, из которых наибольшее впечатление произвели на него «Таис» и *La révolte des anges*¹⁰⁵. Я же обязан ему знакомством с гротесками – формой литературы, невозможной после Гитлера и сегодня вряд ли уже доступной, – Миноны, прежде всего с книгой «Роза, хорошенькая жена полицейского»¹⁰⁶, непревзойдённым произведением в этом жанре, над которым я хохотал так, что чуть не упал со стула, и которое сегодня могу перечитывать лишь с полным безразличием. Бенъямина занимал философский фон этих историй, приведший впоследствии к высокой оценке главного произведения Миноны «Творческая индифферентность», которое вышло под его настоящим именем Соломона Фридлендера¹⁰⁷. Фридлендер был ортодоксальным кантианцем и строгим логиком и этиком в теории, тогда как на практике являл собой, скорее, прообраз циника или носил циничную маску. Фридлендер знал Бенъямина, который отзывался о нём вполне позитивно, со времён «неопатетиков»; это был один из ярчайших умов в кругу экспрессионистов, за

которыми он наблюдал, забавляясь. В таком же роде была написана ныне забытая, рекомендованная мне Бенъямином странная книга Луиса Леви «Человек-лук Кршадок и свежий, словно весна, Мафусаил», «детективный роман» без сути, замаскированная метафизика сомнения. Очень высоко, но совершенно иначе, Бенъямин оценивал «Другую сторону» Альфреда Кубина¹⁰⁸, глубоко вдающегося в оккультизм и проиллюстрированного самим автором романа, о котором Бенъямин как-то сказал мне почти шёпотом: «Подобные вещи я видел во сне». В йенский период он также попросил меня раздобыть для него вышедшую в «Трудах Баварской академии наук» книгу Вильгельма Грубе «Китайский театр теней»¹⁰⁹, одно из малоизвестных, но великолепных достижений синологии; Бенъямин говорил о нём, выпучив глаза, — но, как ни странно, ничего о нём не написал. Иногда я спрашивал Бенъямина, не он ли познакомил Брехта с этой чудесной книгой; ведь к взглядам Брехта на искусство эти произведения — от монолога официанта до имеющих глубокие корни в буддизме мистерияльных пьес — имеют близкое отношение.

В тот период я много писал Бенъямину о «математической теории истины», относительно которой я строил умозрительные рассуждения. С этим и с желанием супругов Бенъяминов, чтобы я возобновил с ними отношения, связано письмо Доры от 12 ноября:

«Дорогой господин Шолем,

уже давно хочу написать Вам и обрисовать внешнюю сторону нашего положения; но собралась только сейчас. (Вальтер на семинаре по Бодлеру; я стащила у него настольную лампу, и теперь мне удобно.) Внутреннюю сторону, т. е. координаты важной именно для нас точки той пресловутой кривой, которая должна представлять математическую теорию истины, Вальтер уже достоверно описал Вам. Я же могу лишь заверить Вас, что упомянутая кривая проведена совсем близко от Берна, и в хорошие дни её часто можно увидеть; тем сильнее необходимость прийти на помощь бедному Вальтеру соответствующими (т. е. мужскими) глазами. Или по-немецки: приезжайте как можно скорее, а то Вы навечно навлечёте на себя ненависть обманутого потомства. Стоимость жизни, или дороговизна (пожалуй, единственная причина, которая всерьёз может Вас удержать от приезда), отнюдь не столь ужасна, как Вы, вероятно, думаете. 64 сантимам, которые сегодня мы получаем за 1 марку, соответствует покупательная способность 1,50–2 марок. Также Вы не должны забывать, что наше домохозяйство, сколь бы скромно оно ни велось, всё-таки служило бы для Вас источником облегчения и экономии.

Наши дела обстоят превосходно. Единственное, чего нам не хватает, так это знакомств (в этом месте рекомендуется ещё раз прочесть письмо с начала). Тем не менее, у нас есть очень милый знакомый,

музыкант. Вскоре мы получим книги. Вальтер уже начал регулярную работу; моя работа пока ещё потерпит (детективный роман). Театр до сих пор был несносен, концерты прекрасны. Теперь подхожу к концу. Итак, приезжайте поскорее; мы живём совсем рядом с вокзалом, и если Вы своевременно напишете, мы Вас даже встретим! Большой сердечный привет от Вашей Доры Бенъямин».

Философия в Йене меня раздражала. Я презирал Эйкена, который выглядел неправдоподобно торжественно и так же говорил. После его часовой лекции я больше не пошёл к нему. Слушать Бруно Бауха, наоборот, было моим долгом и – поскольку дело касалось Канта ещё и интересом. Ведь в то полугодие я много читал о Канте. О нём только что вышла большая монография Бауха, в которой был объявлен отход Бауха от Германа Когена, вскоре после этого принявший весьма резкую форму. «Прологомены» Канта очень увлекли меня, и я помню о том, что писал Бенъямину о своих впечатлениях от этой книги. Сюда впоследствии добавилось прочтение на частном семинаре у Бауха части «Критики способности суждения», особенно введения «О философии вообще», которое оказало на меня стойкое влияние. В ходе семестра ещё состоялось знакомство с затеянной одной дамой полемикой о Когене в «Исследованиях Канта», и полемика эта у части неокантианцев приняла националистический и лёгкий, но вполне распознаваемый антисемитский оборот. Зато меня привлекли два резко противостоявших друг другу

преподавателя. Одним из них был Пауль Ф. Линке, неортодоксальный ученик Гуссерля, побудивший меня к изучению значительной части «Логических исследований» Гуссерля, о которых Беньямин в свой мюнхенский период имел лишь неопределённое представление. Другой – Готтлоб Фреге, чьи «Основы арифметики» я тогда читал наряду со сходными сочинениями Бахмана и Луи Кютюра («Философские принципы математики»). Я прослушал часовую лекцию Фреге о «Записи понятий». Математическая логика тогда представляла для меня большой интерес – с тех пор, как в одном берлинском антикварном магазине я обнаружил «Лекции по алгебре логики» Шрёдера. Эти и сходные с ними попытки перейти к чистому языку мышления сильно меня волновали. В основном семинаре Бауха мы читали логику Лотце, которая оставила меня равнодушным. Я написал семинарский реферат в защиту математической логики против Лотце и Бауха, встреченный молчанием последнего. Лингвистически-философская составляющая понятийного языка, полностью очищенная от мистики, как и сами границы этого языка, казались мне ясными. Я сообщил об этом Беньямину, а тот попросил меня прислать ему упомянутый реферат. Тогда я колебался между двумя полюсами математической и мистической символики – гораздо сильнее, чем Беньямин, чья математическая одарённость была небольшой и который тогда и ещё долго потом зависел от исключительно мистических представлений о языке.

У Фреге, который был почти столь же стар, как и Эйкен, и, подобно Эйкену, носил седую бороду, мне нравились совершенно непомерные манеры, столь выгодно отличавшиеся от манер Эйкена. Однако в Йене мало кто принимал Фреге всерьёз.

В ноябре 1917 года Бенъямин прислал мне копию своей написанной летом статьи об «Идиоте» Достоевского¹¹⁰, которая взволновала меня так же, как и мой ответ его. Я написал ему, что за его концепцией романа и фигурой князя Мышкина я увидел образ его умершего друга. На свой двадцатый день рождения я получил от него короткое письмо, где говорилось: «С тех пор, как я получил Ваше письмо, у меня часто бывает радостно на душе. Всё выглядит так, словно я переживаю праздник и должен чтить как откровение то, что открылось Вам. Ибо не иначе: то, что досталось Вам, не должно возвращаться к Вам же, а должно хотя бы на миг перейти в нашу жизнь» [B. I. S. 157]. Эти строки и моя реакция на них в длинной записи в дневнике дают свидетельство о мощном эмоциональном моменте в наших отношениях, который здесь выразился в сильно преувеличенном виде. Фигура Вальтера – пожалуй, из-за его полной отрешённости и сути его высказываний – сохранила для меня нечто пророческое, что выразилось в письмах, которые я тогда писал своим сверстникам по кругу сионистов, и в нескольких статьях. В марте 1918 года я написал Бенъямину письмо, где

сравнил шесть лет его жизни (1912–1918) с теми же моими, центром которых было «учение», в том специфическом смысле, какой это слово имеет не в немецком, а в еврейском словоупотреблении. Одновременно я послал ему новый перевод библейского «Плача Иеремии», который я тогда сделал наряду с трактатом «Плач и жалобная песнь»¹¹¹. На мой день рождения Вальтер и Дора подарили мне две свои снятые ещё в Дахау фотографии, на которых он выглядит очень серьёзным, а она – особенно красивой; в Йене, где снимки стояли у меня на письменном столе, я вёл с ними воображаемые диалоги. Из письма Доры ко мне от 7 декабря явствует, что Бенъямин свою работу «О программе грядущей философии» писал ещё в ноябре 1917 года, продолжая мысли (напечатанного) письма ко мне от 22 октября. Список трактата, сделанный почерком Доры, который Бенъямин передал мне по моём прибытии в Берн, был первоначально задуман как подарок на день рождения, к 5 декабря. Дора писала: «Много дней я с утра до вечера переписывала работу Вальтера, чтобы доставить Вам радость к этому дню; теперь этот тиран не позволяет мне выслать её, так как должно последовать продолжение». Однако это продолжение было закончено лишь в марте 1918 года¹¹².

Я припоминаю одно странное совпадение. Бенъямин ещё раньше рассказывал мне о математике Роберте Йенче из круга Георга Гейма; Йенч также публиковал стихи в журналах экспрессионистов, а Бенъямин описывал его мне как един-

ственный встретившийся ему экземпляр совершенного денди. После этого, в 1916 году, я пошёл на габилизацию Йенча, чтобы посмотреть, как выглядит совершенный денди – однако это оказалось для меня затруднено тем, что он появился в офицерской форме. В первые апрельские дни 1918 года в читальном зале йенского Народного дома я прочёл в «Берлинер Тагеблатт» сообщения о смерти Германа Когена и Йенча, который погиб на войне. На следующий день я получил письмо от Беньямина, где тот осведомлялся, не слышал ли я случайно что-либо о чрезвычайно интересующем его Йенче.

14 января 1918 года я, пройдя переосвидетельствование в Веймаре, был окончательно демобилизован с ярлыком «длительно негоден к военной службе, больше не контролировать». Это создало предпосылку к тому, чтобы серьёзно подумать о мерах, которые сделали бы возможным тогда особенно труднодостижимый отъезд в Швейцарию. Эти меры удалось завершить лишь в середине апреля, а между тем пришло письмо от Беньямина с известием о рождении его сына Стефана. В своём поздравлении я слегка мечтательно написал: «Ваш брак – прекраснейшее чудо, которое происходит у меня на глазах».

Беньямин тогда попросил и Крафта – с ним я тем временем очень сдружился – послать мне на хранение бумаги, которые он не смог взять с собой в Швейцарию. Они находились у меня лишь короткое время. Я прочёл некоторые из его

записей, которые теперь утрачены, среди них – дневниковые записи о том, как на Пятидесятницу 1913 года Бенъямин с Куртом Тухлером поехал в Париж, а также подробные заметки о празднике в ассоциации «Свободного студенчества» весной 1914 года, которые казались мне весьма характерными для настроения в этом кругу.

Линке в начале апреля предложил мне защитить у него диссертацию по философским основам математической логики. Тогда можно было стать доктором философии за шесть семестров. Но этому и другим планам не суждено было осуществиться, когда на основании свидетельства окружных врачей в конце апреля мне был выписан заграничный паспорт для поездки в Швейцарию.

В ШВЕЙЦАРИИ (1918–1919)

Вечером 3 мая 1918 года я приехал в Берн. Бенъямин встретил меня, и мы просидели ещё несколько часов в его тогдашней квартире на Халлерштрассе, недалеко от вокзала. Так начался длительный период как интенсивной совместной жизни и общего учения, так и помех, сдержанности и стычек. Наши отношения при возобновлении личного общения не могли оставаться столь идиллически однозначными, как в предыдущем году, когда они стремительно развивались. Так, в письме, которое написал мне Бенъямин 23 февраля из Локарно¹¹³, был абзац о наших отношениях, исполненный особенной сердечности, и он произвёл на меня такое впечатление, что я некоторое время считал необходимым говорить о «предустановленной гармонии, в которой наши жизни настроились по отношению друг к другу, как об основополагающем факте, которым регулируется моя жизнь». Однако вскоре мне пришлось признать, что это не соответствовало действительности, и я поплатился за юношескую экзальтацию. Но безоблачный тон наших писем мог служить причиной для таких заблуждений. В наших письмах выносились за скобки, с моей стороны, волновавшие меня страсти, стычки с братом Вернером, который усматривал свой идеал в политической демагогии, а со стороны Бенья-

мина – проблемы его жизни.

Спустя несколько недель после моего прибытия наши отношения впервые столкнулись с тяжёлыми осложнениями, которые в том же году участились. Ожидания, какие каждый из нас возлагал на это время, оказались преувеличенными. Я надеялся встретить в Беньямине нечто пророческое, увидеть не только интеллектуального, но и морального колосса. Вальтер же и Дора, как вскоре оказалось, после переживания относительно моей военной службы и в связи с последовавшей затем перепиской между нами возлагали чрезмерно высокие упования на то, что я пойму его мир, а оказалось, что я повёл себя ниже всякой критики – чуть было не сказал: «недиалектично» – и не смог им соответствовать. Но прежде всего причина этих трений – в отличие от более поздних разговоров, названных Беньямином «пламенными стычками», и писем о его повороте к марксизму – заключалась не столько в споре идей, сколько в несходстве наших характеров. Это проявлялось в отношении к прагматическим вопросам образа жизни и к буржуазному миру (денежные проблемы, отношение к родительскому дому, обхождение с людьми и т. п.). Дело доходило до бурных сцен, которые без любезного посредничества Доры могли бы завершиться катастрофически. Конфликт, в который вошёл я, был моральным. Для меня мысли Беньямина обладали сияющей моральной аурой; в той степени, в какой я мог усвоить их, они имели собствен-

ную мораль, связанную с отношением к религиозной сфере, которая тогда совершенно ясно и открыто располагалась в точке пересечения основных направлений его мышления. Но ей противостоял – в отношениях Бенъямина к повседневным вещам – совершенно аморальный элемент, с каким я не мог примириться, хотя Вальтер оправдывал его презрением к буржуазности. Многие из соображений, которые он и Дора высказывали на эти темы, вызывали мой протест. Так, многократно – иногда довольно неожиданно – дело доходило до резких стычек, начинавшихся из-за того, что мы принимали моральные решения. Его окружала аура чистоты и безусловности, самоотдача духовности, как у книжника, который заброшен в иной мир и находится в поисках своей «письменности». Со мной случился кризис, когда в близком общении я увидел границы этой безусловности. В жизни Бенъямина не было той колоссальной меры чистоты, какой отличалось его мышление. Я был слишком молод, и дела не меняло то, что я часто говорил себе, что в конечном счёте это относится к нам всем: никто не может вырваться из плена отношений с внешним миром, и мы должны были расплачиваться за это тем, что в превратностях тех лет пытались сохранить для себя ту область, куда они не проникали. В итоге до меня дошло, что хотя Бенъямин и Дора в религиозной сфере откровения признаю́т нечто высшее – для меня это было равнозначно приятию десяти заповедей в качестве абсолютной ценности в моральном мире, – но они воспринимают его

иначе: они разлагали эти заповеди диалектически там, где речь шла о конкретном отношении к их жизненной ситуации. Впервые это выяснилось в длинном разговоре о том, как далеко может заходить финансовая эксплуатация наших родителей: Беньямин относился к буржуазному миру безжалостно и нигилистически, что меня возмущало. Моральные категории он признавал лишь для той сферы жизни, которую выстроил для себя сам, и в духовном мире. Они оба упрекали меня в наивности. Дескать, я нахожусь во власти своей позы. Мол, я ранен «возмутительным здоровьем», и оно «распоряжается мною», а не я им. Беньямин заявил, что люди вроде нас имеют обязательства лишь перед себе подобными, но не перед правилами того общества, которое мы-де презираем. Мои представления о честности – например, в требованиях к нашим родителям – полностью отвергались. Порой ошеломяло ницшеанство, сквозившее в его речах. Примечательно, что самые ожесточённые стычки часто заканчивались проявлением особой сердечности со стороны Беньямина. Когда после одной такой грозы Беньямин провожал меня, он долго не выпускал мою руку и глубоко заглядывал мне в глаза. Было ли это чувством вины за то, что мы в своей горячности зашли слишком далеко? Было ли это желанием не потерять единственного человека, помимо Доры, кто был близок ему в то время душевно и по местонахождению?

В этой связи я хотел бы сказать, что Беньямин, по сути, был совсем не циничным человеком, что, пожалуй, зависело

от его глубоко укоренённой мессианской веры. Конечно, к буржуазному обществу он относился с немалой долей цинизма, но даже это давалось ему с трудом. За пределами этой области элемент цинизма у него полностью отсутствовал. Там, где речь шла о таких важных вещах, как религия, философия и литература, в Беньямине не было и следа цинизма. Его анархизм не имел с цинизмом ничего общего, а «веления духа» были для него в годы нашего близкого общения понятием, полностью исключавшим что-либо подобное. И всё же приходилось иногда удивляться его искренним высказываниям, в которых цинизм сочетался с глубокой и серьёзной духовностью. Это я наблюдал у него на трёх примерах: на его восхищении флюберовским «Буваром и Пекюше», связанным скорее с конгениальным ему презрением к буржуазной лживости; на его восхищении Миноной и, возможно, Фердинандом Хардекопфом. В отношении Миноны я легко мог согласиться с ним, а вот для Хардекопфа у меня отсутствовало необходимое «чувствилище».

Когда между Вальтером и Дорой царил мир – вскоре после приезда, ожидая их в соседней комнате, я был свидетелем шумных сцен – в их отношениях проявлялась несравненная внимательность и они оставались неприкрыто нежны друг к другу даже в моём присутствии. В их тайном языке существовало много слов, которых я не понимал – ласкательные словечки и тому подобное. Особенно излюбленным бы-

ло слово Ekuł, которое, в противоположность слову Ekel¹¹⁴, употреблялось в чрезвычайно положительном смысле. Так, Вальтер, по словам Доры, был «преласковый бука», а я летом 1918 года звался «благочестивый бука». Дора в то время была полногрудой Юноной, со страстной натурой, легко взрывалась, иногда доходя до приступов истерии, но могла быть и очень любезной и милой. Во многих разговорах с ними речь редко заходила об эротических или сексуальных вопросах. В те швейцарские годы это было тем заметнее, что Дора отнюдь не чуралась таких тем и заводила о них разговор, но Бенямина они как-то не интересовали. Но он много лет упорно – даже в разговорах с другими – отстаивал странный тезис, что несчастной любви не бывает, тезис, который решительно опровергался его собственной биографией.

В эти годы, между 1915-м и как минимум 1927-м, религиозная сфера имела для Бенямина, без всякого сомнения, центральное значение; в центре этой сферы располагалось понятие «учения», которое для него хотя и включало область философии, но перешагивало её границы. В своих ранних работах он то и дело возвращается к этому понятию, которое в еврейской Торе означает «наставление», наставление не только об истинном положении и пути человека в мире, но и о транскаузальной связи вещей и её заповеданности Богом. Это имело много общего с беняминовским понятием традиции, приобретающим всё более мистический оттенок.

Многие из наших разговоров – больше, чем прослеживается по его записям, – витали вокруг связей между двумя этими понятиями: религия, но не только теология – как, например, считала Ханна Арендт, имея в виду его последние годы – представляет собой некий высший порядок. (Слово «порядок», или «духовный порядок», часто употреблялось им в те годы. В изложении своих мыслей он часто прибегал к нему вместо «категории».) В разговорах тех лет он не стеснялся говорить о Боге без обиняков. Поскольку мы оба верили в Бога, мы никогда не спорили о его «бытии». Бог был для него реален – начиная от самых ранних статей по философии, в письмах времён расцвета «Молодёжного движения» и вплоть до заметок к первой его диссертации по философии языка. Мне знакомо одно ненапечатанное письмо об этом, письмо к Карле Зелигзон от июня 1914 года. Но даже в упомянутых записях Бог является недостижимым центром учения о символах, которое должно было отдалять его не только от всего предметного, но и от всего символического. Если в Швейцарии Бенъямин говорил о философии как учении о порядках духовности, то его дефиниция, которую я тогда для себя записал, выходит и в область религиозного: «Философия есть абсолютный опыт, выведенный в систематико-символической связи как язык» и тем самым – часть «учения». То, что впоследствии он отошёл от непосредственного религиозного способа выражения, хотя теологическая сфера оставалась для него глубоко живой, нисколько

ко этому не противоречит.

До того, как я приехал в Швейцарию, он полностью прочёл – наряду со Штифтером и Франсом – три толстых тома «Истории догм» Гарнака, которые надолго – отнюдь не к лучшему – определили его представление о христианской теологии и оказали столь же большое влияние на его решительное отвержение католицизма, как многие разговоры со мной – на его склонность к миру иудаизма, пусть она даже оставалась в области абстракции.

Спустя несколько дней после моего приезда супруги Бенъямины взяли меня на состоявшийся в маленьком зале фортепьянный концерт Бузони, который исполнял Дебюсси. Это было «общественным» мероприятием, по бернским понятиям, и это был единственный раз, когда я видел Бенъяминов на таком мероприятии; оба были весьма элегантно одеты и раздавали поклоны направо и налево. Отец Доры рекомендовал Бенъямина своему близкому другу Самуэлю Зингеру, ординарному профессору средневерхненемецкого языка в Берне, и время от времени супругов Бенъяминов приглашали в фортепьянный зал вместе с несколькими профессорами. Летний семестр только начался, и я – ещё до моего формального зачисления – начал вместе с Бенъямином посещать некоторые лекции. Мы слушали «Введение в критический реализм» в исполнении Хербертца, и единственным содержанием этих лекций Бенъямин назвал то, что деревян-

ного железа не бывает. Этот курс лекций да ещё один, читавшийся Паулем Хеберлином, и лекции о романтизме Гарри Майнца, в которых, согласно Бенъямину, «фальшь маскировалась китчем», были очень малолюдны. Но поскольку Бенъямину для защиты диссертации были нужны три этих курса по философии, психологии и истории немецкой литературы и он должен был участвовать в семинарах, он просил меня хотя бы составлять ему компанию на лекциях. От скуки мы часто забавлялись, составляя списки знаменитых людей на какую-нибудь одну букву алфавита. Бенъямин участвовал в семинаре Хеберлина по Фрейдю; про фрейдовское учение о влечениях он написал тогда подробный реферат, но само учение ценил невысоко. Для этого семинара он, среди прочего, прочёл и «Мемуары нервнобольного» Шребера¹¹⁵, которые произвели на него гораздо более глубокое впечатление, чем фрейдовская статья о них¹¹⁶. Бенъямин побудил и меня прочесть книгу Шребера, чьи формулировки были очень выразительны и многозначительны. Из этой книги он позаимствовал для нашей игры выражение «улетучившиеся люди». У Шребера, который в разгар его паранойи полагал, будто мир разрушается враждебными ему «лучами», это было ответом на возражение, что, очевидно, врачи, пациенты и служащие сумасшедшего дома всё-таки существуют. На семинаре Хербертца мы читали «Метафизику» Аристотеля. Бенъямин был неоспоримым фаворитом и заслужил – как он имел обыкновение говорить – «семинарские лавры, *laurea*

communis minor»¹¹⁷. Хербертц, который любил говорить тоном философского рыночного зазывалы и выкрикивать аристотелевское τό τι ἦν εἶναι¹¹⁸, словно глашатай, из будки чудес объявляющий выступление дамы без нижней половины тела, глубоко уважал Бенямина и уже относился к нему как к младшему коллеге. Его совершенно независтливое восхищение беняминовским гением, который был полной противоположностью его собственному мелкобуржуазному мышлению, выказывало глубокое благородство его сути, которое он ещё не раз проявил, в том числе и в годы Второй мировой войны.

Несколько недель подряд мы встречались ежедневно, потом – как минимум по три раза. Сразу после моего приезда Бенямин и Дора предложили мне поселиться в деревушке Мури, которая находилась в получасе ходьбы от моста Кирхенфельд в сторону Туна¹¹⁹, где они – из-за ситуации с жильём в городе – собирались снять квартиру. И до начала августа мы жили за городом; моя комната была в двух минутах ходьбы от них, и, таким образом, между нами шло оживлённое общение. Бенямин сразу стал уговаривать меня вместе изучить какую-нибудь философскую работу. После некоторых колебаний мы – поскольку он тогда особенно интересовался Кантом – сошлись на основополагающем для Марбургской школы сочинении, на книге Когена «Кан-

това теория познания»¹²⁰, которую затем подолгу анализировали и обсуждали. Так как мы – как выразился Бенъямин в наших первых разговорах – образовали «свою собственную академию», тогда как в университете можно было обучиться лишь немногому, речь зашла о полусерьёзном-полушуточном открытии «университета Мури» и его «институций» – библиотеки и академии. В перечне лекций этого университета, в уставе академии и в воображаемом каталоге недавно поступивших книг, которые Бенъямин снабжал аннотациями, фонтанирующими весельем, мы отводили душу следующие три-четыре года, давая выход нашему задору и подвергая осмеянию академическую рутину. Бенъямин подписывался как ректор и неоднократно сообщал мне в письменной и устной форме о новейших событиях в университете, созданном нашей фантазией – тогда как я фигурировал в них как «младший служащий при религиозно-философском семинаре», но иногда и как член факультета.

Первые дни в Швейцарии протекали чрезвычайно интенсивно и празднично. Мой приезд был отмечен торжественным обедом, на котором Бенъямин сообщил мне, что займётся изучением древнееврейского, как только сдаст экзамен. Для нас были важны разговоры об иудаизме, философии и литературе; к ним добавлялись чтение стихов, игры, разговоры наедине с Дорой, когда она рассказывала мне о своей прежней жизни и о Бенъямине. Дора рано уходила спать, а мы с Бенъямином говорили допоздна. 10 мая он дал мне на

прощание написанную в 1913–1914 годах «Метафизику молодости»¹²¹, которую я переписал для себя.

С самого начала мы много говорили о его «Программе грядущей философии». Он говорил об объёме понятия опыта, которое, по его мнению, охватывает духовную и психологическую связь человека с миром, а эта связь свершается в сферах, куда ещё не проникло познание. Когда же я заговорил о том, что в таком случае было бы легитимным включить в это понятие опыта мантические дисциплины, он ответил, экстремально заострив формулировку: «Не может быть истинной философия, которая не включает и не может объяснить возможность гадания на кофейной гуще». Такие гадания, дескать, могут порицаться, как в иудаизме, но их следует считать возможными, исходя из взаимосвязи вещей. На самом деле, даже его поздние заметки об оккультном опыте полностью не исключают таких возможностей, хотя, скорее, *implicite*¹²². С этой точки зрения – а вовсе не из-за какой-то наркотической зависимости, совершенно чуждой ему и напрасно приписываемой ему в последнее время – объясняется его временами живой интерес к опыту употребления гашиша. Ещё в Швейцарии Бенъямин, на чьём столе я впоследствии видел *Les paradis artificiels*¹²³, говорил при обсуждении упомянутой работы о расширении человеческого опыта в галлюцинациях, которые, по его мнению, не исчерпывают

ся такими словами, как «иллюзия». О Канте Беньямин говорил, что тот «обосновывает неполноценный опыт».

Этот тезис сыграл свою роль в разочаровании, которое мы испытали по прочтении работы Когена. Мы оба, слушавшие в разное время лекции или доклады Когена в его берлинский период и относившиеся к Когену с почтением и даже с благоговением, приступили к этому чтению с большими ожиданиями и готовностью к критическому обсуждению. Но выводы и интерпретации Когена показались нам сомнительными, и мы не оставили от них камня на камне. У меня до сих пор сохранились заметки к критике кантовских силлогизмов в «трансцендентальной эстетике» и к доказательству их необоснованности – эти заметки я написал после нескольких наших занятий. Беньямин при этом высказывался об отношении рационалиста, которым являлся Коген, к интерпретации. «Для рационалиста не только тексты абсолютной ценности, как Библия [а для Беньямина также Гёльдерлин], поддаются интерпретации на разных уровнях, но и всё, что является объектом, выставляется рационалистом как абсолют и посему подлежит насильственному комментарию, как Аристотель, Декарт, Кант». В критике Канта Беньямин находил также оправдание феноменологам в их обращении к Юму. Беньямин не нуждался в рационалистическом позитивизме, занимавшем нас в связи с чтением Когена, так как он стремился к «абсолютному опыту». Наши сетования по поводу интерпретации Канта Когеном стали столь серьёзными, что

с началом летних каникул в августе наши занятия завершились – при том, что в июле мы ежедневно занимались по два часа. Бенъямин жаловался на «трансцендентальную путаницу» рассуждений Когена. «Тут я с равным успехом могу обратиться и в католицизм». Для меня различие между этой работой по Канту и когеновской собственной «Логикой чистого познания»¹²⁴, половину которой я тогда только что прочёл, было очевидным, как бы ни казались взаимозависимыми эти два сочинения. О некоторых тезисах книги Бенъямин утверждал, что это «отрицательные эталоны маленьких пухлых фолиантов». Он назвал когеновскую книгу «философским осиным гнездом».

В то время Бенъямин много говорил о Ницше последнего периода. Незадолго до моего приезда он прочёл книгу К. Бернулли «Ницше и Овербек»¹²⁵, которую назвал увлекательным примером газетной научно-популярной литературы. Очевидно, Бернулли побудил его задуматься над Ницше. По мнению Бенъямина, Ницше был единственным, кто в XIX веке, когда «слышали» только природу, узрел исторический опыт. Даже Буркхардт-де ходил вокруг да около исторического этоса. Его этос – этос не истории, а исторического рассмотрения, гуманизма. В высказываниях Бенъямина о философии тогда присутствовала отчётливая тенденция к систематизации. Вскоре после своего приезда я записал: «Он мчится в систему на всех парусах». Иногда Бенъямин прямо-таки приравнивал друг к другу термины «система» и

«учение». К этой области, как прежде, относились его споры с миром мифа и, в связи с его занятиями Бахофеном, умозрения относительно космогонии и «допотопного» мира человека. Я часто излагал ему свои идеи об иудаизме и его борьбе против мифа – о чём я очень много думал за прошедшие восемь месяцев. Особенно часто мы говорили на эти темы между серединой июня и серединой августа. Тогда мы испытали, пожалуй, особенно сильное взаимовлияние. Он прочёл мне длинную статью о грёзах и ясновидении, в которой пытался сформулировать законы, управляющие миром домифических призраков. Он различал две исторические мировые эпохи – призраков и демонов, – предшествовавшие мировой эпохе откровения; я же предлагал называть последнюю, скорее, мессианской. Собственным содержанием мифа, по его мнению, является грандиозная революция, которая в полемике против эпохи призраков положила ей конец. Уже тогда его занимали мысли о восприятии как о некоем чтении конфигураций поверхности: именно так-де первобытный человек воспринимал окружающий его мир и, особенно, небо. Здесь располагался зародыш тех рассуждений, каковые он представил четыре года спустя в статье «Учение о подобии»¹²⁶. Возникновение созвездий как конфигураций на поверхности неба – утверждал Беньямин – является началом чтения и письма, и оно совпадает с формированием мировой эпохи мифа. Созвездия для мифического мира были тем, чем впоследствии стало откровение Священного Писа-

Весь спектр состояний между сновидением и бодрствованием увлекал Бенямина так же, как и мир самих сновидений. Однажды он объяснил мне закон толкования сновидений; он считал, что открыл его, я же – вновь перечитав свои записи на эту тему – не понял этого закона. Когда Бенямин впоследствии насколько я могу догадываться – отказался от толкования сновидений, по меньшей мере, *explicite*¹²⁸, он продолжал часто рассказывать собственные сны и охотно заговаривал на тему толкования сновидений. Не помню, чтобы он возражал моему глубокому разочарованию одноимённой фрейдовской книгой, о которой я написал ему несколько лет спустя. В Мури Бенямин рассказывал о сне весны 1916 года в Зеесхаупте, за три дня до кончины его любимой тётки Фридерики Йозефи, которая покончила жизнь самоубийством. Сновидение сильно взволновало его, и он часами пытался найти его истолкование, но тщетно. «Я лежал в постели, в комнате был ещё один человек и моя тётка, но они не общались. В окно глядели люди, проходившие мимо». Лишь впоследствии ему стало ясно, что это было символическим известием о её смерти. Я не уверен, сказал ли Вальтер напрямую, что одна из смотревших в окно была сама тётка, что прояснило бы его истолкование. В другой раз он рассказал после шутивно-ожесточённого разговора о запланированной «Энциклопедии белиберды» в духе Флобера¹²⁹, что видел во

сне накануне: «Было двадцать человек, которые должны были разбиться по двое для того, чтобы изобразить ситуацию, соответствующую заданной теме. Чудесным образом костюмы вырастали на нас в зависимости от наших намерений. Кто управлялся с делом раньше, задавал тон партнёру. Приз получал тот, кто изображал тему лучше всех». Вальтер должен был получить приз за тему «отказа». Он при этом был маленьким кругленьким китайцем в синих одеждах, а его назойливый партнёр, который чего-то от него хотел, взобрался к нему на спину. Но и другая пара столь же хорошо справилась со своей темой, поэтому приз решили дать за другую тему – «ревность». «Тут я был женщиной и лежал, распростёршись на полу, а мужчина обнимал меня, и я ревниво смотрел на него снизу вверх и высовывал язык».

Беньямин предавался также сравнению философского стиля нашего поколения с кантовским; стиль Канта – вопреки господствовавшему мнению – он считал утончённым и ссылаясь в этом на Клейста. В качестве доказательства он должен был бы привести, как я ожидал, цитаты из малых произведений Канта или из «Критики способности суждения», но он прочёл мне письмо Канта к Козегартену, чтобы тут же с расстановкой и торжественным голосом прочесть два сохранившихся в переписке Канта письма Самуэля Колленбуша – это были послания благочестивого христианина, протестовавшего против «религии в границах чистого разу-

ма»¹³⁰ («Мне жаль, что И. Кант не уповаает ни на что хорошее от Бога»). После этого он надолго замолк, а затем величественно впери́л в меня взор, как если бы хотел сказать, что эту прозу, пожалуй, можно поставить рядом с библейской. Затем Вальтер прочёл три письма из переписки Гёте с Цельтером – среди них письмо Гёте о смерти его сына. Эти письма, особенно письма Колленбуша, ещё годы спустя всплывали в его разговорах и принадлежали к тем, которые дали толчок к возникновению его сборника «Люди Германии»¹³¹. Впоследствии мы провели немало бесед о Гёте; они были, скорее, монологами Бенъямина, в лучшем случае – его монологами, которые я перебивал вопросами, так как я тогда мало читал Гёте. Говорил он и об «автобиографической жизни Гёте, которая основана на затуманивании». Когда он сказал, что узрел правду о Гёте, обдумывая его брак, он спонтанно перешёл к собственному обручению с Гретой Радт¹³². Он видел некую параллель между двумя этими отношениями, но какую именно, я не помню. Его непредвзятый взгляд на Гёте выразился уже в швейцарский период в высокой, лишь наполовину ироничной, оценке трёхтомной биографии Гёте, написанной иезуитом Баумгартнером¹³³. Он пускался в похвалы «разоблачениям», которые содержались в этом памфлете: ненависть нередко наделяла автора проницательностью. «Настоящий иезуит о Гёте – это надо видеть». Или же «если выбирать между Баумгартнером и Гундольфом, я не за-

трудняюсь»¹³⁴. Конечно, суждения Баумгартнера оставляли Беньямина совершенно безразличным; его интересовала детективная и инквизиторская сторона книги, где Гёте изображался в виде преступника, которого необходимо было изобличить. Меня тогда гораздо сильнее трогал Жан-Поль, о котором Беньямин говорил, что в Германии это единственный великий писатель, который может не принимать упрёк в свой адрес, что он жил в исторической сфере насилия. Против Шиллера, однако, этот упрёк правомерен, и «нет большего надувательства, чем историческая невинность Шиллера». Шиллеровский отказ помогать Гёльдерлину взаимосвязан с этой «невинностью» и с его «демонической моралью». В другой раз Беньямин прочёл вслух стихотворение Ленца о Канте: «Подлинное преклонение: оно бесконечно».

В те первые недели у нас было много важных разговоров, иногда за полночь, и среди прочего мы читали набросок новой этики, копию которой Людвиг Штраус посылал Беньямину и мне и которую мы подвергали критическому разбору. Беньямин читал и собственные стихи, но, прежде всего, стихи Фрица Хейнле, Августа Вильгельма Шлегеля и Платена, о котором он говорил, что чувствует с ним родство душ. Мы оба – как немало евреев из нашего поколения до прихода Гитлера к власти – совершенно пренебрегали Гейне, и я не помню, чтобы у нас был хоть один разговор о поэзии Гейне. Беньямин, готовя диссертацию о понятии художественной критики в раннем романтизме, прочёл «Романтическую

школу» Гейне и дал о ней уничтожающий отзыв. Когда в 1916 году я впервые услышал о Карле Краусе, я прочёл его «Гейне и последствия»¹³⁵, а Беньямин – ещё нет. Он в то время штудировал прозаические сочинения Фридриха Шлегеля, к которому издавна испытывал влечение, в том числе и к его поэзии, – и при этом натолкнулся на Фихте. Фихте, Кьеркегора и Фрейда Беньямин причислял к «сократическим людям». Лишь гораздо позднее в письме, отправленном в январе 1936 года нашей общей знакомой Китти Штейншнейдер, он писал, что «в Фихте революционный дух немецкой буржуазии превратился в куколку, из которой вылупился бражник – мёртвая голова национал-социализма».



Карл Краус. Вена, 1936 г.

Если в разговорах Бенъямин часто высказывался о Георге и его «круге» (о последнем – с большой сдержанностью или полемично), то о поэзии Рильке говорил лишь изредка, что контрастировало с высокой оценкой, какую он давал ему в период «Молодёжного движения» и о которой мне рассказывали его друзья того времени (о чём я тогда ещё не знал). В мае 1918 года у нас с Бенъямином произошла подробная беседа, в которой он – без всякой полемики – попытался дать определение сфере поэзии Рильке. Деталей я не помню, кроме одной. Мой друг Эрих Брауэр, который семестр назад начал учиться во Фрейбурге-им-Брейсгау, написал мне о глубоком впечатлении, произведённом на него лекцией Эрнста Бушора, археолога классической древности. Бушор говорил о хранящемся в музее в Неаполе архаическом торсе Аполлона и под конец лекции продекламировал стихотворение Рильке под тем же названием, после чего расплакался – а это не повседневное событие на университетской лекции по археологии¹³⁶. Я поведал об этом Бенъямину, и он сказал: «Это и впрямь необыкновенное стихотворение!». Годы спустя он послал мне копию своего по неведомым причинам оставшегося ненапечатанным ответа на злобный некролог, написанный на смерть Рильке Францем Блем в «Литературном мире»¹³⁷ и глубоко возмущивший Бенъямина. Этот ответ показал весьма изменившееся отношение Бенъямина к Рильке, но тот сонет из сборника «Новые стихотворения» он по-прежнему назвал в числе незабывае-

мых стихов. Когда же я в одном письме о жалобных песнях написал о трёх текстах: о библейском плаче Давида по Ионафану и о двух стихотворениях на ту же тему – Рильке и Эльзы Ласкер-Шюлер – он ответил, что стихотворение Рильке просто плохое. В одном разговоре о жалобных песнях – тема, глубоко занимавшая меня тогда в связи с древнееврейским – он мне сказал, что в романе Рильке «Мальте Лауридс Бригге» есть чудесная жалобная песнь. Я раскрыл книгу, и в искомом месте была приведена цитата из главы 30 Книги Иова, хотя и без указания источника! При всей остроте критики, которую Бенъямин впоследствии обрушил на Рильке как на «классика всех слабостей югендштиля», он никогда не снисходил до распространившейся впоследствии «социально-критической» глупости, когда насмехались над знаменитым стихотворением Рильке о Франциске Ассизском¹³⁸, считая его снобистско-реакционным восхвалением нищеты.

К литературному экспрессионизму, возникшему в предвоенные годы в кругу, близком Бенъямину, он никогда не примыкал как к направлению. Однако к экспрессионистской живописи Кандинского, Марка Шагала и Пауля Клее на некоторых её фазах относился с большим восхищением. Ещё в Йене я подарил ему книгу Кандинского «О духовном в искусстве»¹³⁹, где его привлекали именно мистические элементы содержащейся в ней теории. Но в девизах как таковых Бенъямин находил вообще мало смысла и ориентировался,

скорее, не на школы, а на конкретные феномены. Имя Казимира Эдшмида, тогда популярного представителя экспрессионистской прозы, было для Бенямина символом претенциозной пошлости и использовалось на том же уровне насмешки, что и имя Фриды Шанц. Правда, Георга Гейма он считал большим поэтом и цитировал мне наизусть – для него дело необычное – стихи из «Вечного дня»¹⁴⁰. До сих пор остаётся нерешённой загадка поэзии Фрица Хейнле, содержащей, по мнению Бенямина, элементы величия, отличавшие его от основной массы экспрессионистов.

На описываемое время приходится также и начало его коллекционирования старых детских книг, о котором он написал в июле 1918 года в напечатанном письме к Эрнсту Шёну. Коллекционирование началось из-за энтузиазма Доры по отношению к таким книгам. Дора любила также саги и книги сказок. Оба, по меньшей мере до 1923 года, пока я жил рядом с ними, имели обыкновение дарить друг другу на дни рождения иллюстрированные детские книги и охотились, прежде всего, за экземплярами, раскрашенными вручную. Он показал мне сочинения Лизера с восторгом, в котором радость открытия была связана и с художественным результатом. Бенямин любил произносить небольшие речи о таких книгах перед Дорой и мной, чтобы особо выделить неожиданные ассоциации, встреченные в текстах. В июне 1918 года мы нашли у одного антиквара в Берне первый том

«Книги с картинками для детей» Бертуха – из Веймарского круга¹⁴¹; впоследствии Беньямин приобрёл ещё несколько томов. Эта книга образовала особый фокус его любовного погружения. Когда Беньямин комментировал ту или иную иллюстрацию, в нём уже тогда воспламенялось его особое чутьё к эмблематике, хотя мы этого и не осознавали. Ассоциативно определённые картинки в таких книгах приковывали его на том же уровне, как впоследствии «Меланхолия I» Дюрера и книги об эмблемах ХVIXVII веков.

Его склонность к воображаемому миру ассоциаций, связанная с пробуждением участия в мире ребёнка и погружением в этот мир в детские годы его сына, сказывалась и в его интересе к литературе душевнобольных. Уже в Берне у него было несколько работ такого происхождения. В них его восхищал, прежде всего, архитектурный, как сегодня выразились бы – структурный элемент систем их мира и часто с ними связанные фантастические иерархии с не текучей, как у детей, а с горестно и сурово затвердевшей упорядоченностью. Интерес Беньямина был при этом не патопсихологический, а метафизический. Я нередко слышал, как он говорил на упомянутые темы – но никогда не в связи с психоаналитической техникой, о которой он тогда знал хотя бы из чтения работ Фрейда и некоторых его ранних учеников. Из этой же серии было его уже упомянутое отношение к живописи – которое распространялось и на Джеймса Энсора за-

долго до его открытия сюрреалистами. Он любил посещать выставки, где его пронизательное понимание искусства развивалось больше, чем при изучении репродукций. Ещё в Париже он привёл меня в кабинеты, где производились иллюзии, горячо расхваливая их технику, а также в музей восковых фигур мадам Тюссо, где неожиданные сопоставления также вызвали его эстетически-ассоциативный восторг.

Об эстетической теории, которой я не интересовался, мы почти не говорили, и я припоминаю лишь два исключения: его пожизненную убеждённость в значении работы Алоиза Ригля «Позднеримская художественная индустрия»¹⁴² и его любовь к «Приготовительной школе эстетики» Жан-Поля, которую он читал в связи со своими исследованиями романтизма¹⁴³. Особенно я вспоминаю фразу Жан-Поля, охотно цитируемую Бенъямином как вершину чувства юмора. Жан-Поль говорил о раннем романтизме как об «уже полупогибшей школе, чьи важнейшие учебники, однако, в первую очередь шлегелевские – пережили её краткое бессмертие».

Бывая вместе, мы нередко проводили время в прогулках по старому Берну, но больше всего общались в рабочей комнате Бенъямина, где он постепенно собрал значительную часть своей библиотеки. Иногда мы совершали и большие путешествия – например, ночной поход из Туна в Интерлакен¹⁴⁴ в конце мая 1918 года. Шли мы молча, но если на-

чинали говорить, Бенъямин останавливался, как он любил делать во время беседы. Затем мы снова пускались в путь и говорили о чём-нибудь нейтральном, молчали, а потом вновь впадали в «существенное». Тогда-то мне впервые открылись в Бенъямине начальные, а впоследствии развившиеся депрессивные черты, его меланхолическая суть. (Ничего маниакального в нём я никогда не замечал.) В то же время я заметил и истерические элементы в поведении Доры, которые внезапно проявлялись по самым неприметным поводам. Довольно часто меня подавляли эти напряжённые события, но сделать я ничего не мог. Я ощущал себя как человек, который видел больше, чем ему хотелось бы.

За обоюдными разочарованиями и за конфликтами, о которых уже говорилось выше, стояли более глубокая горечь и потеря иллюзий в тех представлениях, которые мы составили друг о друге прежде. Конфликты разрешались под маской писем, которыми обменивались между собой грудной младенец Стефан и я – мы подкладывали их друг другу. Письма Стефана были написаны почерком Доры, но с ведома и, пожалуй, с участием Вальтера. 20 июня – спустя шесть недель после моего прибытия! – Стефан написал мне, сославшись на, насколько я помню, даже не написанное моё письмо:

«Дорогой дядя Герхардт¹⁴⁵!

Посылаю тебе свою лучшую карточку, полученную недавно. Спасибо за твоё письмо; на это мне есть что сказать. Потому и пишу. Ведь когда я к тебе прихожу,

ты рассказываешь так много, что я не могу вставить слово. Вначале я должен сказать тебе, чтоб ты знал: я ничего не помню. Ведь если бы я мог что-то помнить, я бы уже был не здесь, где всё так скверно и где от тебя столько напастей, а давно бы вернулся туда, откуда прибыл. Поэтому я не могу прочесть конец твоего письма. Остальное мама читает мне вслух. У меня, кстати, такие странные родители; однако об этом потом.

Когда я вчера был в городе, мне кое-что пришло в голову. Когда я вырасту, я ведь буду у тебя учиться. Поэтому уже сейчас ты должен призадуматься. Лучше всего напиши уже сейчас книжечку, где ты всё отметишь. Теперь я хочу сказать тебе кое-что о моих родителях. О моей матери – пока ничего, так как она, в конце концов, моя мать. Но о моём отце могу тебе кое-что заметить. Ты не прав в том, что ты пишешь, дорогой дядя Герхардт. По-моему, ты очень мало знаешь о моём папе. Да и мало кто о нём что-нибудь знает. Когда я ещё был на небе, ты написал ему одно письмо, и мы все подумали, что ты это знаешь. Но ты, пожалуй, совсем этого не знаешь. Я думаю, такой человек приходит в мир очень редко, и тогда людям надо быть к нему добрыми, всё остальное он сделает сам. А ты всё ещё думаешь, дорогой дядя Герхардт, что надо сделать очень много. Может, когда я буду большой, я тоже так буду думать, а пока же я думаю, как моя мама, то есть совсем ничего или мало чего; и потому большие хлопоты и волнения обо всём кажутся мне гораздо менее важными, чем вот это: тепло мне или холодно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.